



## РОМЕН РОЛЛАН. ПЬЕР И ЛЮС

*Amori*<sup>1</sup>

*Pacis Amor Deus Propertius*<sup>2</sup>

*Продолжительность действия: вечер среды 30 января —  
Страстная пятница 29 марта 1918 года.*

Пьер ворвался в метро. Грубая, возбужденная толпа. Стоя у входа, в толще человеческие тела, он дышал воздухом, спертым от дыхания множества людей, и смотрел невидящим взором на темные гулкие своды, по которым скользили огненные зрачки поезда. В душе у него были те же тени, те же резкие вспышки света. Задыхаясь в поднятом воротнике пальто, не в силах пошевелиться, сжав губы и чувствуя, как его влажный от испарины лоб охлаждают порою клубы ледяного воздуха, врывающегося в двери на остановках, он старался не видеть, не дышать, не думать, не жить. Смутная тоска наполняла сердце этого восемнадцатилетнего юноши, почти ребенка. Там, высоко, над этими черными сводами, над этой кротовой норой, где проносилось металлическое чудовище, кишевшее личинками — людьми, был Париж, снег, холодный январский вечер, кошмар жизни и смерти — война.

Война. Вот уже четыре года, как она вторглась сюда. Она легла тяжким гнетом на его

---

<sup>1</sup> Любви (лат.).

<sup>2</sup> Мирно любви божество. Проперций (лат.).

отрочество. Она застигла его в том переходном возрасте, когда юноша, встревоженный пробуждением неведомых дотоле чувств, в испуге обнаруживает, что стал добычей звериных, слепых, разрушительных сил жизни, хотя он ничего еще не просил от нее. Если это, подобно Пьеру, хрупкий мальчик с нежной и впечатлительной душой, он, никому не решаясь признаться, испытывает отвращение и ужас перед грубостью, нечистоплотностью, бессмысленностью плодovитой и ненасытной природы — этой вечно родящей свиньи, пожирающей свой приплод. В каждом юноше лет шестнадцати — восемнадцати есть частица души Гамлета. Не требуйте от него понимания войны! (В этом разбирайтесь вы, умудренные опытом люди.) Ему и без того трудно понять и оправдать жизнь! Обычно юноша весь уходит в мечты и в искусство, пока не освоится со своим новым состоянием и куколка не завершит мучительного перехода от личинки к насекомому. Как нуждается он в покое и сосредоточенности в эту смутную апрельскую пору созревания души! Но его находят в его тайном убежище и, такого беззащитного в новой, еще не затвердевшей оболочке, вытаскивают из тени и бросают на резкий свет, в самую гущу грубой человеческой толпы, где он, ничего не понимая, немедленно должен приобщиться к ее безумствам и ненависти и, все еще ничего не понимая, расплачиваться за них.

Пьер был призван вместе со своими ровесниками, восемнадцатилетними юношами. Через полгода родине понадобится его жизнь. Этого требовала война. Полгода отсрочки! Полгода. Ах, если бы не думать об этом до той поры! Оставаться в своем подземелье! Не видеть жестокого света дня...

Мысль Пьера, подобно убежавшему поезду, углублялась во тьму; он сомкнул веки...

Когда он снова открыл глаза, в нескольких шагах от него, отделенная двумя случайными попутчиками, стояла только что вошедшая девушка. Ему был виден лишь тонкий профиль, затененный полями шляпки, белокурый завиток у нежной щеки, блик света на скуле, изящная линия носа и вздернутой верхней губки, рот, приоткрытый частым дыханием. Сквозь его широко раскрывшиеся глаза, словно в распахнутую дверь, она вошла в его сердце, вошла вся целиком; и дверь захлопнулась. Житейский шум умолк. Тишина. Покой. Она была в нем.

Она не смотрела на него. Она даже не знала еще, что он существует. Но она уже была в его сердце! Он держал в своих объятиях ее безмолвно прильнувший к нему образ и боялся дышать, чтобы не спугнуть ее своим дыханием.

На следующей станции — замешательство. Люди с криком ринулись в переполненный вагон. Волна человеческих тел подхватила и отбросила Пьера. Над сводами, над городом, где-то там, в вышине, слышались глухие разрывы. Поезд снова тронулся. И в это мгновение какой-то словно обезумевший человек, сбегавший, закрыв лицо руками, по станционной лестнице, вдруг скатился вниз... Еще успели увидеть кровь, сочившуюся между пальцами... И снова туннель и мрак... В вагоне крики ужаса: «Готы, готы!...»<sup>3</sup> В общем смятении, слившем всех этих людей в одно целое, Пьер схватил прикоснувшуюся к нему руку и, подняв глаза, увидел, что это была — Она.

Она не отстранилась. Ее взволнованные пальцы судорожно сжали схватившую их руку, а потом медленно отдались по жатию, — мягкие, горячие, успокоенные. Так стояли они под покровом мрака, и руки их, точно две птички в одном гнезде, прижались друг к другу; сквозь горячие ладони единым током текла кровь их сердец. Они не обменялись ни словом. Не пошевелились. Его губы почти касались завитка волос на ее щеке, кончика уха. Она не смотрела на него. На второй остановке она отняла свою руку — Пьер ее не удерживал, — скользнула в толпе, ушла, так я не бросив на него взгляда.

Когда она исчезла, Пьер спохватился... Поздно. Поезд уже тронулся. На следующей станции он вышел на улицу. Тот же вечерний сумрак, то же незримое касание редких перышек снега, и Город, еще испуганный, но уже готовый улыбнуться. В вышине все еще парили птицы войны. Но Пьер не видел ничего, кроме той, которая вошла в его сердце; и он вернулся домой,

---

<sup>3</sup> Немецкие аэропланы, бомбардировавшие Париж в 1918 году.

рука об руку с незнакомкой.

Пьер Обье жил со своими родителями недалеко от сквера Клюни. Отец его был судьей; брат — шестью годами старше — с первых же дней войны ушел добровольцем. Истинно французская добропорядочная буржуазия семья, почтенные, добросердечные, прекраснодушные люди, ни разу в жизни, не дерзнувшие высказать собственное суждение и, по всей вероятности, даже не подозревавшие о такой возможности. Неподкупно честный, проникнутый сознанием высокого значения обязанностей председателя суда, г-н Обье счел бы себя смертельно оскорбленным, если бы кто-нибудь заподозрил, что его приговоры могут быть продиктованы иными соображениями, чем те, которые внушают ему требования справедливости и голос совести. Однако его совесть никогда не высказывалась против правительства, даже шепотом. Она была прирожденным чиновником и всецело подчинялась официальным государственным установлениям, которые, даже меняясь, остаются непогрешимыми. Власти предрержащие в глазах г-на Обье были чем-то святым и непреложным. Он искренне восхищался как бы отлитыми из бронзы душами великих судей прошлого, независимых и непреклонных, и, быть может, втайне считал себя их преемником. Это был совсем маленький Мишель де л'Опиталь, на которого столетие служения Республике наложило свой отпечаток. А г-жа Обье была в такой же мере доброй христианкой, в какой ее муж добрым республиканцем. И, подобно тому как ее прямодушный, неподкупный супруг соглашался быть послушным орудием правительства против всякой неуставной свободы, она, в простоте душевной, присоединяла свои молитвы к человеку убийственным молениям, возносимым во имя войны во всех странах Европы католическими аббатами и протестантскими пасторами, раввинами и священниками, газетами и всеми благомыслящими людьми того времени. Оба они — отец и мать — обожали своих детей, как истые французы, только к ним и питали глубокое, настоящее чувство, готовы были всем пожертвовать ради них, но, чтобы не отставать от других, не задумываясь, приносили их в жертву. Кому? Неведомому божеству. Во все времена Авраам отдавал Исаака на заклание. И это прославленное в веках безумие не перестало служить примером несчастному человечеству.

В их семейном кругу, как это случается нередко, было много любви, но не было душевной близости. Да и возможен ли свободный обмен мыслями там, где не пытаются разобраться в своих собственных? Что бы вы ни думали, вы обязаны уважать известные догматы; и если вас стесняют, даже те из них, которые остаются в своем строго очерченном кругу (а именно относящиеся к потустороннему миру), то что же сказать о тех, которые, подобно обязательным гражданским догматам, стремятся вмешиваться в жизнь, всецело руководить ею! Попробуйте-ка позабыть о догмате родины. Новая религия возвращала нас ко временам Ветхого завета. Она уже не довольствовалась благочестивым лепетом и бесхитростными обрядами, в какой-то мере полезными, хотя и смешными, как исповедь, пост по пятницам, воскресный отдых, которые навлекали на себя едкие насмешки наших «философов» в те времена, когда народ был свободен — при королях. Новой религии требовалось все, на меньшее она не соглашалась: весь человек — его плоть, его кровь, его жизнь и помыслы. И прежде всего его кровь. Никогда еще со времен мексиканских ацтеков божество не было столь кровожадным. Было бы глубоко несправедливо утверждать, что верующие от этого не страдали! Они страдали, но все же верили. О люди, мои бедные братья, для вас и страдание — доказательство божественного промысла! Г-н и г-жа Обье страдали, как и другие, и, как и другие, поклонялись божеству. Но нельзя же было требовать такого отречения от сердца, от чувств, от здравого смысла у подростка. Пьеру хотелось по крайней мере разобраться в том, что его угнетало; но он не дерзал высказать ни одного из волновавших его существо сомнений, ибо все они начинались словами: «Но если я в это не верю?» — что уже было кощунством. Нет, он не мог говорить. Они воззрились бы на него с изумлением, со страхом, с негодованием, стыдом и болью. И так как Пьер был в том восприимчивом возрасте, когда нежная, еще не окрепшая оболочка души поддается малейшим дуновениям жизни и, трепеща под ее легкими перстами, обретает законченную форму, то ему же заранее становилось и грустно и неловко. О, до чего сильна была их вера! (Но так ли уж сильна?) И

как им удавалось сохранить эту силу? Спросить об этом было нельзя. Но когда среди верующих один не верит, он подобен человеку, лишенному какого-то чувства, быть может и ненужного, но присущего всем остальным; и он, краснея, сторонится других.

Понять тревогу Пьера мог бы только его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто обожают младшие (ревниво оберегая свой тайну) старших — брата или сестру, случайного знакомого, порой даже мимолетного спутника, уже скрывшегося из виду, всех, кто олицетворяет в их глазах образ того, кем они хотели бы стать и кого они одновременно хотели бы любить. Целомудренный, но уже смутный жар души — предвестник будущих противоборствующих страстей! Старший брат замечал это наивное обожание, и оно льстило ему. В ту пору он старался читать в сердце Пьера и многое осторожно объяснял ему: хотя и более мужественный, чем Пьер, он был человеком того же склада; эти достойнейшие из мужчин, сохраняя в душе женскую мягкость, не стыдятся этого. Но пришла война и оторвала его от привычного труда, от мечтаний науки, от его мечтаний двадцатилетнего юноши, от дружеской близости с младшим братом. В самозабвенном опьянении первых дней войны он бросил все и, подобно большой птице, ринулся в даль, ослепленный героическим и нелепым упованием, что своими когтями и клювом он покончит с войной и восстановит на земле мир. С тех пор эта птица два-три раза возвращалась в гнездо, с каждым разом, увы, все более пощипанной. Он расстался со многими иллюзиями, но говорить об этом ему было тяжело. Ему было стыдно, что он во все это верил. Как глупо, что он не разглядел подлинный лик жизни! Теперь он с ожесточением стремился разбить прежние иллюзии и стоически принять жизнь, какой бы она ни была! Он бичевал не только самого себя; с болезненным раздражением ополчался он на подобные же юношеские иллюзии, которые находил в душе своего брата. Когда, в первый приезд Филиппа, Пьер бросился к нему, сгорая от желания раскрыть перед ним свое замурованное сердце, его сразу же охладило обращение старшего брата, правда по-прежнему ласковое, но с оттенком какой-то горькой иронии. Вопросы, готовые сорваться, замерли на устах Пьера. Филипп, угадывая их, одним небрежным замечанием или взглядом обрывал его на полуслове. После двух-трех попыток Пьер, душевно раненный, ушел в себя. Он не узнавал брата.

Зато Филипп его узнавал. Он узнавал в нем себя самого, каким он был еще недавно и каким никогда уже не будет. И за это он мстил брату. Затем он раскаивался, но не подавал вида и продолжал в том же духе. Оба страдали, и, как это часто бывает в жизни, общее страдание, вместо того чтобы сблизить, отчуждало их. Но в их положении была некоторая разница: Филипп знал, что они страдают вместе, а Пьер думал, что страдает в одиночестве и нет друга, которому он мог бы открыться.

Почему же не обратился он к своим сверстникам, к школьным товарищам? Казалось бы, этим мальчикам следовало теснее сплотиться, искать взаимной поддержки? Но этого не было. Наоборот, обстоятельства роковым образом отдаляли их друг от друга и заставляли держаться небольшими группами и, даже внутри этих групп, замыкаться и обособляться. Самые недалекие из них вслепую, очертя голову бросились в водоворот войны. Но большинство стояло в стороне и не чувствовало никакой связи со старшим поколением; они совсем не разделяли их страстей, надежд и ненависти и смотрели на их фанатические действия, как трезвые смотрят на пьяных. Но что могли они сделать? Некоторые пытались выпускать небольшие политические «ревью», но цензура душила их, не давала им дышать, и они угасали на первых номерах. Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком. Самые достойные из этой молодежи, слишком слабые, чтобы бороться, и слишком гордые, чтобы жаловаться, знали, что нож войны уже занесен над ними. Ожидая своей очереди идти на бойню, они издали наблюдали все происходящее и молча, каждый про себя, выносили суждение, полное иронии и презрения. Из духа противоречия жалкому стадному чувству они культивировали своеобразный умственный и художественный эгоизм и идеалистический сенсуализм, преследуемое «я» отстаивало свои права, не желая единения с человечеством. Это пресловутое единение представало перед подростками лишь как совместно содеянное и совместно пережитое убийство. Преждевременный опыт развеял их

иллюзии; они познали цену этим иллюзиям на примере старших, которые, утратив их, тем не менее платили за них кровью. Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически нестройного шпики награждалось и поощрялось правительством. И все вместе взятое — уныние, презрение, осторожность, стоическое сознание своего духовного одиночества — не располагало молодых людей к откровенности.

Пьер не мог найти среди них Горацио, которого страстно ищут юные, восемнадцатилетние Гамлеты. Ему претило отдавать свои мысли на суд общественного мнения (этой публичной девки), но он жаждал свободно поделиться ими с избранным другом. Его слишком нежное сердце тяготилось одиночеством. Он страдал от страданий всего человечества. Оно сокрушало его бременем горя, тяжесть которого он преувеличивал: ведь как бы там ни было, человечество несет его, стало быть, шкура у него грубее, чем тонкая кожа еще не возмужавшего юноши. Но чего он не преувеличивал, что угнетало его сильнее, чем всемирное страдание, это всеобщее отупение.

Не страшно страдать, не страшно умереть, когда видишь в этом смысл. Жертвовать собой прекрасно, когда знаешь, ради чего. Но какой смысл в глазах юноши может иметь мир, раздираемый распрями? Чем может привлечь честного и духовно здорового юношу грубая схватка народов, сцепившихся, как бараны над пропастью, куда им всем предстоит рухнуть? Между тем дорога достаточно широка для всех. Откуда же эта жажда самоистребления? Для чего эти гордые собой отечества, эти государства, живущие грабежом, эти народы, которым внушают, что их долг — убивать? Для чего это всемирное побоище? Это взаимопожирание живых существ? Для чего эта кошмарная, нескончаемая, чудовищная цепь жизни, каждое из звеньев которой вонзает зубы в затылок соседа, насыщается его плотью, наслаждается его муками и на его смерти созидает свою жизнь? Для чего эта борьба, для чего эти муки? Для чего смерть? Для чего жизнь? Для чего? Для чего?

Когда сегодня вечером юноша вернулся домой, «для чего» молчало.

Между тем все как будто было по-прежнему. Он у себя в комнате, заваленной книгами и бумагами. Вокруг — знакомые звуки: на улице сирена возвещает конец воздушной тревоги; на лестнице, возвращаясь из подвала, оживленно болтают соседи, этажом выше хо дит и ходит из угла в угол старик, все поджидая сына, без вести пропавшего вот уже несколько месяцев. Но тревога, притаившаяся здесь, когда он уходил, исчезла.

Иногда неполный аккорд, резнув слух, оставляет душу в смятении, пока не прибавится нота, которая объединит враждебные или просто равнодушно-чуждые элементы, подобные незнакомым еще между собою гостям, ожидающим, чтобы их представили друг другу. Но вот лед разбит, и гармония течет, охватывая ваше существо. Такого рода химическое превращение произвело в душе Пьера это теплое мимолетное прикосновение. Пьер не отдавал себе отчета, не задумывался, почему произошла перемена; он только чувствовал, что всегдашняя враждебность окружающего мира вдруг смягчилась. Часами изводит вас острая головная боль; и вдруг вы замечаете, что ее уже нет; как случилось, что она вас отпустила? Только чуть-чуть еще стучит в висках, напоминая о ней. Пьер отнесся недоверчиво к этому внезапному успокоению. Он боялся, что боль утихла лишь на время, коварно притаилась, чтобы потом вспыхнуть с новой силой. Он знал, какое умиротворение дарит нам искусство. Когда наши глаза радуется божественная соразмерность линий и красок и наш чуткий слух ласкают дивные переливы многозвучных аккордов, рассыпаясь и сливаясь согласно законам гармонических чисел, нас объемлет мир и затопляет блаженство. Но это озарение нисходит на нас откуда-то извне: как бы от далекого солнца, в лучах которого, замороженные, мы парим над жизнью. Это длится недолго — и мы снова падаем на землю. Искусство — лишь мимолетное забвение действительности. И Пьер боязливо ждал, что все это пройдет. Но нет, на этот раз излучение шло из глубины души. Ничто житейское не было забыто. Но все было в согласии: воспоминания и новые мысли; и все окружающее — предметы, книги, бумаги — как бы оживало, становилось интересным, чего давно уже не было.

В течение нескольких месяцев его умственный рост был скован, — так юное деревцо в полном цвету побивает дыхание «ледяных святых». Пьер не принадлежал к тем практическим юнцам, которые, пользуясь университетскими льготами для юных призывников, ожидающих дня мобилизации, спешили приобрести диплом под снисходительным взглядом экзаменаторов. Не владела им и бессмысленная жадность, с какой многие, в предчувствии близкой смерти, захлебываясь, глотали знания, уже ни на что им не нужные. Всегдашнее ощущение пустоты там, в конце, как и здесь, под ногами, — пустоты, прикрытой жестокими и обманчивыми иллюзиями жизни, — сдерживало все его порывы. Он увлекался какой-нибудь книгой, предавался размышлениям — и вдруг остывал, охваченный безнадежностью. На что ему все это? Для чего учиться? Для чего обогащать себя, если придется все потерять, все бросить, если ничто вам не принадлежит? Чтобы видеть смысл в какой-нибудь деятельности или науке, надо видеть смысл и в самой жизни. Ни усилия ума, ни мольбы сердца не помогали ему обрести этот смысл... И вот он появился неожиданно сам собой... Жизнь приобрела смысл...

Почему? И, гадая, что же вызвало эту улыбку души, он увидел полуоткрытые уста, к которым жаждали прильнуть его губы.

\* \* \*

В обычное время очарование этой безмолвной встречи, вероятно, вскоре развеялось бы. В пору юности, когда вы влюблены в любовь, она глядит на вас изо всех очей; непостоянное сердце жаждет вкушать ее и здесь, и там; ничто не торопит его сделать выбор; заря еще только занимается.

Но нынешний день будет краток: нужно спешить.

Сердце юноши рванулось вперед с тем большей стремительностью, что оно уже запаздывало. В больших городах, которые издали кажутся вулканами, окутанными дымом сладострастия, таятся девственно-свежие души и нетронутые тела. Сколько там юношей и девушек свято чтут любовь и берегут в ожидании брака свежесть и чистоту чувств! Даже в утонченно культурной среде, где любопытство преждевременно разбужено воображением, сколько забавного неведения скрывается под вольными речами светской девушки или студента, который все знает, но ничего не познал! В сердце Парижа есть наивные, провинциальные уголки, монастырские садики, чистые родники. Париж оклеветан своей литературой. От его имени говорят самые порочные. К тому же, как всем хорошо известно, из ложного представления об уважении к людям целомудренные юноши нередко скрывают свою невинность. Пьер еще не вкусил любви и готов был послушаться ее первого зова.

Очарование его мечты было тем сильнее, что любовь родилась под крылом смерти. В минуту смятения, когда они почувствовали над собой нависшую угрозу, когда их сердца дрогнули при виде окровавленного, искалеченного человека, их руки соединились; и оба в этот миг почувствовали сквозь дрожь страха ласковое утешение незнакомого друга. Мимолетное пожатие! Мужская рука сказала: «Обопрись на меня!» — а другая, материнская, поборов свой страх, шепнула: «Дитя мое!»

Слова эти не были произнесены вслух, не были услышаны. Но такой глубинный шепот понятен душе лучше слов — лиственной завесы, что заслоняет мысль. Пьера убаюкивало это жужжанье: точно поет золотистая оса, кружа в полумгле сознания. В непонятной истоме дремало время. Одинокое, бесприютное сердце мечтало о теплом гнездышке.

В первые дни февраля Париж подсчитывал разрушения от последнего воздушного налета и зализывал раны. Печать в своей конуре заливалась лаем, требуя репрессий. По словам «Человека, который сажал на цепь»,<sup>4</sup> правительство объявило французам войну. Открывался сезон процессов об измене. Муки несчастного, защищающего свою жизнь, на которую

---

<sup>4</sup> Намек на Клемансо — французского премьер-министра в 1917 году.

предъявлял права общественный обвинитель, забавляли весь Париж, чью жажду зрелищ не могли утолить ни ужасы четырехлетней войны, ни десять миллионов безвестно погибших жизней.

Но юноша был всецело занят таинственной гостьей, посетившей его. Поразительна яркость любовных образов, запечатленных в памяти и в то же время лишенных четкости! Пьер не мог бы сказать, какое у нее лицо, цвет глаз, рисунок губ; в душе сохранилось одно лишь волнующее впечатление. Тщетно силился он воспроизвести ее черты — всякий раз они являлись ему иными. Так же безуспешно искал он ее по улицам города. Он поминутно обманывался: ее улыбка, белокурый локон на затылке, блеск глаз... и кровь прилиwała к сердцу. Но нет, у этих мимолетных видений не было ничего общего с тем девическим образом, который он искал, думая, что любит. Но любил ли он? В том-то и дело, что любил; потому и видел повсюду, в каждом облике. Ведь вся она — улыбка, вся — сияние, вся — жизнь. А точный рисунок определяет границы. Но эта определенность нужна, чтобы обнять любовь и завладеть ею.

Если не дано ему будет снова ее увидеть, он все же знает, что она есть, она есть, и она — гнездышко. В бурю пристань. Маяк в ночи. *Stella Maris. Amor.* Любовь, поддержи нас в час смертный!..

\* \* \*

Пьер брел по набережной Сены, мимо Института; он находился у лестницы моста Искусств, рассеянно глядя на выставку книг одного из букинистов, оставшихся на своем посту; подняв глаза, он вдруг увидел ту, которую ждал. С папкой для рисунков в руках она легко, как лань, сбегала по ступеням. Он не раздумывал ни секунды: он устремился навстречу девушке, спускавшейся по лестнице, и взоры их впервые встретились и проникли в глубь души. Поравнявшись с девушкой, Пьер остановился, невольно краснея. От неожиданности, видя его смущение, она тоже покраснела. Не успел он перевести дыхание, как легкие шаги лани стихли. И когда он снова пришел в себя и оглянулся, ее пальто уже мелькнуло у поворота аркады, выходящей на улицу Сены. Ему и в голову не пришло догонять ее. Перегнувшись через перила моста, он видел ее взгляд в речных струях. На время его сердцу хватит пищи... (О милые, глупые дети!)...

Спустя неделю он бродил по Люксембургскому саду, напоенному золотистой негой солнца. Какой лучезарный февраль в этом мрачном году! Влюбленный, погруженный в свои грезы, не зная, грезится ему то, что он видит, или он видит то, о нем грезит, счастливый и несчастный в своем страстном томлении, согретый любовью и солнцем, он улыбался, гуляя, рассеянно глядя перед собой на песчаную дорожку, и губы его невольно шевелились, произнося какие-то несвязные слова, что-то похожее на песнь. И вдруг словно крыло голубя задело его на лету — он почувствовал чью-то улыбку. Пьер обернулся и увидел, что мимо него прошла она; в ту же минуту и девушка на ходу обернулась и, улыбаясь, посмотрела на него. Не размышляя, он рванулся к ней в таком юношески простодушном порыве, что и она невольно остановилась. Он не извинился. Ни он, ни она не чувствовали никакой неловкости. Они как бы продолжали давно начатый разговор.

«— Вы смеетесь надо мной», — сказал он, — и вы, конечно, правы.

— Я вовсе не смеюсь над вами. (В ее голосе были те же легкость и живость, что и в походке.) Вы улыбались своим мыслям, и мне стало смешно, глядя на вас.

— Неужели я улыбался?

— Вы и сейчас улыбаетесь.

— Но теперь-то я знаю почему.

Она не спросила. Счастливые, они пошли рядом.

«— Солнышко какое славное», — сказала она.

— Это рождение весны!

— Не ей ли вы посылали ваши нежные улыбки?

— Не только ей. Может быть, и вам.  
— Вот лгунишка! Противный! Вы же со мной не знакомы.  
— Разве можно так говорить! Мы ведь сколько уж раз встречались!  
— Всего три... считая и сегодня.  
— А-а, вы помните! Вы сами видите, что мы старые знакомые!  
— Рассказывайте!  
— А я только этого и хочу... но давайте присядем на минутку, пожалуйста! Здесь у воды так хорошо!

(Они стояли у фонтана Галатеи. Каменщики накрывали его брезентом, оберегая от повреждений.)

— Я не могу, я пропущу трамвай...

Она сказала, когда отходит загородный трамвай. Он возразил, что в ее распоряжении целых двадцать пять минут.

Да, но ей надо купить чего-нибудь на завтрак: тут на углу улицы Расина продают очень вкусные хлебцы. Пьер вынул из кармана свежий хлебец.

— Вот такой? Не хотите ли попробовать?.. Она засмеялась в нерешительности. Пьер вложил хлебец ей в ладонь и задержал ее руку.

— Вы мне доставите большое удовольствие! Пойдемте присядем!

Он повел ее к скамейке в аллее, огибавшей бассейн.

— У меня есть еще и это...

Он вынул из кармана плиточку шоколада.

— Ну и лакомка! Чего только у него нет!

— Но я не смею предложить... Он не завернул.

— Давайте, давайте... Время военное!

Пьер смотрел, как она грызла шоколад.

— В первый раз чувствую, что и в войне есть что-то хорошее.

— Не будем говорить о ней! Только тоску наводит!

— Да, — подхватил он с воодушевлением, — не надо о ней говорить.

И вдруг стало легко-легко дышать.

— Смотрите-ка, — воскликнула она, — воробьи купаются!

(Она указала на птичек, плескавшихся в бассейне.)

— Значит, в тот вечер (он продолжал думать о своем), там в метро, вы все же заметили меня, скажите?

— Конечно.

— Но вы даже ни разу на меня не взглянули, вы все время стояли, отвернувшись... вот как сейчас...

(Он видел ее в профиль, видел, как она ела хлебец и глядела перед собой, лукаво щурясь.)

— Ну, повернитесь ко мне... Что вы там увидели?

Она не повернула головы. Он взял ее правую руку; из дырочки на перчатке выглядывал кончик указательного пальца.

— На что вы смотрите?

— На вас, как вы разглядываете мою перчатку... Пожалуйста, не порвите ее еще больше!

(В рассеянности он щипал разорванный палец перчатки.)

— Ах, простите! Как это вы увидели?

Она не ответила; но, взглянув на ее лукавый профиль, он заметил краешек смеющегося глаза.

— Вот плутовка!

— Это же очень просто... все так делают...

— А я не могу.

— А вы попробуйте!.. Скосите глаз.

— Нет, я так не умею... Я вижу только, когда смотрю прямо перед собой, как дурак...

— Да вовсе не как дурак!



— Наконец-то! Вот теперь я вижу ваши глаза.  
Они глядели друг на друга, ласково посмеиваясь.  
— Как вас зовут?  
— Люс.  
— Какое красивое имя, светлое, как этот денек!  
— А ваше?  
— Пьер. Самое обыкновенное.  
— Очень хорошее имя, у него такие ясные, честные глаза...  
— Как у меня.  
— Что они ясные — это правда.  
— А все потому, что они смотрят на Люс.  
— Люс! Надо сказать, «мадемуазель».  
— Нет!  
— Нет?

(Он покачал головой.)

— Вы не «мадемуазель». Вы — просто Люс, а я — Пьер.

Они держались за руки. Устремив глаза в небо, кротко синевшее меж голых сучьев, они замолчали. Они не глядели друг на друга, но мысли, их волновавшие, передавались через пожатые руки.

Она сказала:

— В тот вечер нам было страшно.  
— Да, — подхватил он, — было хорошо.

(Позднее они невольно улыбнулись, вспоминая этот разговор: оба в ту минуту, конечно, думали об одном.)

Вдруг она выдернула руку. Били часы.

— Ах! Я опаздываю...

Они пошли вместе. Люс шла быстрой, легкой походкой парижаночки, которая и в спешке не теряет присущего ей изящества.

— Вы часто здесь бываете?

— Каждый день. Но почти всегда на той стороне площадки. (Она указала на сад, на купу деревьев, точно с гравюры Ватто). Я возвращаюсь из музея.

(Он посмотрел на ее папку.)

— Вы художница? — спросил он.

— Нет, — ответила она, — для меня это слишком громко. Так, мазилка...

— Но зачем же? Для развлечения?

— О, конечно, нет. Чтобы заработать. — Заработать?

— Ну да! Как это дурно, не правда ли, — заниматься живописью для заработка?

— Нет, скорее странно — зарабатывать деньги, не умея рисовать.

— Однако это так. Я вам объясню в следующий раз.

— В следующий раз мы опять позавтракаем у фонтана.

— Пожалуй, если будет хороший денек.

— Но вы придете пораньше? Хорошо? Ну скажите, Люс?

(Они дошли до трамвайной остановки. Она вскочила на подножку вагона.)

— Ну, скажите... ответьте мне... милый мой лучик!

Девушка не отвечала, но, когда тронулся трамвай, она прикрыла веки, и по одному лишь движению ее губ он угадал ответ:

— Да, Пьер.

По дороге домой оба изумлялись:

— Удивительно, какие все радостные сегодня...

И сами улыбались, не пытаясь разобраться в том, что произошло; но они знали, что у них что-то есть, что они что-то нашли, что им что-то принадлежит. Что именно? Ничего. Но сегодня жизнь так полна! Дома каждый из них поглядел на себя в зеркало ласковым взглядом,

как на друга, думая: «Эти глаза смотрели на тебя». Они улеглись рано, охваченные сладостной усталостью, — почему бы это? И, засыпая, думали: «Как хорошо, что наступит завтра!»

\* \* \*

Завтра!.. Те, кто придет после нас, едва ли представят себе, сколько затаенного отчаяния и беспредельной скорби поднимало в душе это слово на четвертом году войны... Все были так измучены! Столько погибших надежд! Сотни «завтра» сменялись чередой, похожие на вчера и сегодня и равно обреченные на небытие и ожидание, ожидание небытия. Время приостановило свой бег. Год стал подобен Стиксу, охватившему жизнь кольцом черных, мутных вод, недвижных, подернутых тусклой зыбью. Завтра? Завтра умерло.

В сердцах двух детей завтра воскресло.

Завтра снова увидело их у фонтана, так же, как и все последующие «завтра». Ясная погода благоприятствовала этим коротким, — но с каждым разом все менее коротким, — встречам. Пьер и Люс приносили какую-нибудь еду — было так приятно угостить! Пьер всегда поджидал Люс у входа в музей. Ему захотелось посмотреть ее рисунки. Она ими не очень-то гордилась, но не заставила себя упрашивать. Это были уменьшенные копии известных картин или их фрагментов: группа, лицо, бюст. На первый взгляд недурно, но очень небрежно. Кое-где довольно верные, умелые штрихи; а рядом — ученические промахи, выдававшие не только невежество, но и нетребовательность, полное равнодушие к оценке. «Ничего! Сойдет!» Люс называла подлинники. Пьер и сам хорошо знал их. Он досадливо морщился. Люс видела, что ему не нравится, но мужественно показывала все — вот вам еще!.. Самая скверная! С ее губ не сходила усмешка — насмешка и над собой, и над Пьером; ей не хотелось признаваться самой себе, что ее самолюбие задето. Пьер не открывал рта, боясь сказать лишнее. Наконец не вытерпел. Она показала ему копию картины Рафаэля во Флоренции.

— Но здесь совсем не те краски! — воскликнул он.

— Ничего удивительного! — возразила Люс. — Подлинника я и в глаза не видела... я делала по фотографии.

— А разве вам не дают указаний?

— Кто? Клиенты? Они тоже не видели... Да если бы и видели, разве они в этом разбираются? Красный ли тут, зеленый, синий — им все равно. Иногда мне дают оригинал в красках, но я меняю цвета... Вот хотя бы здесь, взгляните... (Ангел Мурильо).

— И вам кажется, что так лучше?

— Нисколько, но это меня забавляет... И к тому же так было легче... А в общем мне все равно... Только бы продать...

Сказав это с вызывающим видом, она замолчала, забрала у Пьера свои рисунки и рассмеялась:

— Ну что? Хуже, чем вы думали? Он огорченно спросил:

— Зачем? Зачем вы это делаете?

Она взглянула с доброй, материнской усмешкой на его растерянное лицо. Глупый мальчик! Его родители — люди обеспеченные, ему все так легко достается... Разве он понимает, что иногда приходится идти на компромисс?..

А он все повторял:

— Зачем, ну скажите, зачем?

(И казался совсем сконфуженным, словно сам был этим злополучным художником! Славный мальчик! Ей захотелось поцеловать его... по-матерински, в лоб.)

Она кротко ответила:

— Чтобы прокормиться.

Он был поражен. Ему это и в голову не приходило.

— Жизнь не так проста, — продолжала она непринужденно-насмешливым тоном, — прежде всего надо есть, каждый день есть. Сегодня пообедал, а завтра начинай сначала. Кроме того, надо одеваться. Одеть все — и руки, и ноги, и голову. Вот сколько вещей! И за все

туловище надо платить. Жить — значит платить.

Впервые он заметил то, что ускользнуло от его близоруких глаз влюбленного: скромный, местами потертый мех, уже не новые ботинки и другие признаки недостатка, которые скрадывала присущая парижанке элегантность. И сердце у него сжалось.

— Нельзя ли, нельзя ли мне помочь вам? Она покраснела и чуть отстранилась от него.

— Нет, нет, — обиженно возразила она, — об этом не может быть и речи... никогда... я не нуждаюсь...

— Но я был бы так счастлив!

— Нет... и довольно об этом. Или я с вами не дружу.

— Так, значит, мы друзья?

— Да. Если только вы не отказываетесь, просмотрев эту мазню.

— Ну, конечно, нет! Вы же не виноваты.

— Но это вас огорчает?

— О да!

Люс от удовольствия даже засмеялась.

— Вам весело? Злая!

— Нет, это не злость. Вы не поняли. — Почему же вы смеетесь?

— Не скажу.

(А сама думала: «Дорогой мой! Какой же ты милый... Огорчился из-за того, что я скверно рисую!»)

И сказала:

— Вы добрый; спасибо.

(Он удивленно взглянул на нее.)

— Не старайтесь понять! — Она ласково похлопала его по руке. — Довольно, поговорим о другом...

— Да, только еще один вопрос... Мне все-таки хотелось бы знать... Скажите (только не обижайтесь!) ... может быть, вы сейчас стеснены в средствах?

— Нет, нет, я так сказала потому, что иногда бывали трудные минуты. А теперь нам уже легче. Мама нашла место, где хорошо платят.

— Ваша мама работает?

— Да, на заводе военного снаряжения. Там платят двенадцать франков в день. Мы теперь богатые!

— Как, на заводе? На военном заводе?

— Да.

— Но это ужасно!

— Что поделаешь! Надо брать что подвернется!

— Люс, но, если бы вам, — вам самой предложили?..

— Мне? Но вы же видите: я мазюкаю... Теперь-то вы согласны, что я права, занимаясь этим?

— Но если бы вам надо было зарабатывать и ничего другого не представилось, кроме работы на военном заводе, вы пошли бы?

— Если бы надо было зарабатывать и не было выбора? Ну, еще бы! Помчалась бы со всех ног!

— Люс, а вы думали о том, что там делают?

— Нет, не думала.

— Там делают то, что несет страдания, смерть, что будет терзать, жечь, мучить таких людей, как вы, как я...

Она приложила палец к губам в знак молчания.

— Знаю, все знаю, но не хочу об этом думать.

— Не хотите думать?

— Не хочу, — решительно сказала Люс.

И, с минуту помолчав, продолжала:

— Надо жить... Как только начинаешь думать — жить невозможно... А я хочу, хочу жить! Если жизнь заставляет меня делать, то или другое, разве я должна из-за этого терзаться? Я тут ни при чем, я этого не хотела, и не моя вина, если это дурно. В том, чего я хочу, нет ничего дурного.

— А что вы хотите?

— Прежде всего — жить.

— Вы любите жизнь?

— Еще бы! А разве это нехорошо?

— Нет, нет, так хорошо, что вы живете!

— А вы? Вы не любите жизнь?

— Я не любил ее раньше, до того...

— До того, как?..

(Ответа не требовалось. Все было понятно без слов.)

Пьер пытался уточнить ее мысль.

— Вы сказали «прежде всего», «прежде всего я хочу жить». А потом? Чего бы вам еще хотелось?

— Не знаю.

— Нет, знаете.

— Вы очень нескромны.

— Да, очень.

— Я стесняюсь сказать вам...

— Шепните мне на ухо. Никто и не услышит. Она улыбнулась.

— Мне хотелось бы... (Она запнулась.) Мне хотелось бы чуточку счастья...

(Они сидели так близко один к другому!)

Она продолжала:

— Разве я слишком многого требую? Я часто слышу, что это эгоистично; да я и сама себе говорю: «На что мы сейчас имеем право?» Когда видишь кругом столько страданий, столько горя, не смеешь ничего требовать. И все же мое сердце требует и говорит: «Нет, есть у тебя право, есть право на чуточку, на капельку счастья...» Ну скажите мне прямо: разве это эгоистично? Вы находите, что это нехорошо?

Его охватила бесконечная жалость. Этот крик сердца, трогательный и простодушный, взволновал его до глубины души. На глазах у него выступили слезы. Сидя на скамье, прижавшись друг к другу, они чувствовали теплоту своих колен. Ему хотелось повернуться, обнять ее, но он боялся потерять самообладание. Они сидели не двигаясь, глядя себе на ноги. Торопливо, горячо и глухо, едва шевеля губами, он проговорил:

— Маленькая моя! Моя дорогая! Мне хочется прижать ваши крохотные ножки к своим губам, мне хочется всю вас съесть...

Не поворачиваясь, так же торопливо и тихо, она ответила в полном смущении:

— Вы с ума сошли! Замолчите! Прошу вас...

Мимо них медленно прошел пожилой человек. Им казалось, что они растворяются в безграничной нежности...

В аллее не было никого. Взъерошенный воробей копошился в песке. Фонтан рассыпался светлыми каплями. Они робко обернулись друг к другу; и как только взгляды их встретились, губы их, словно летящие птицы, соединились, боязливо и трепетно, и разлетелись. Люс встала, пошла. Пьер тоже поднялся. Она сказала ему:

— Оставайтесь.

Они избегали смотреть друг на друга. Пьер пробормотал:

— Люс... эта капелька счастья... теперь есть она у нас... скажите?

\* \* \*

Из-за непогоды завтраки у фонтана с воробьями прекратились. Февральское солнце

затянуло туманами. Но они не могли погасить то солнце, которое влюбленные носили в своем сердце. Не все ли равно, какая погода: холод, жара, дождь, ветер, снег или солнце! Им всегда хорошо. А будет все лучше и лучше. Когда счастье в поре своего цветенья, самый прекрасный день — это сегодня.

Туман был им на руку: было меньше риска попасться кому-нибудь на глаза, и они не расставались подолгу. С утра Пьер поджидал Люс у остановки трамвая и сопровождал ее в беготне по Парижу. Воротник его пальто был поднят. Люс была в меховой шапочке, в боа, плотно окутывавшем ее шею до самого подбородка: под туго натянутой вуалеткой маленьким кружочком вырисовывались ее губки. Но самой лучшей вуалью для обоих была влажная пелена укрывающей мглы, густая, пепельно-серая, с желтыми фосфоресцирующими бликами. В десяти шагах ничего не было видно. Они шли по старым улицам, выходящим к Сене, среди сгущавшегося тумана. О друг туман, на твоих ледяных простынях потягивается и нежится мечта! Они были как зернышко в мякоти плода, как огонек, скрытый в потайном фонаре. Пьер крепко держал свою спутницу под руку; они шли в ногу, оба почти одного роста, — Люс чуть повыше, — и щебетали вполголоса, близко наклонившись друг к другу; ему так хотелось поцеловать влажный кружок на вуалетке!

Люс ходила продавать к скупщику поддельной старины заказанные ей «брюквы» и «репки», как она их называла. Они не спешили и как бы нечаянно (по крайней мере они хотели себя в этом уверить) выбирали путь подлиннее, сваливая вину на туман. Когда же, наконец, вопреки всем хитростям, на которые они пускались, чтобы обойти его, нужный им дом вставал перед ними, Люс входила в лавку, а Пьер становился на углу улицы. Он ждал подолгу, и ему было холодно. Но ради Люс он счастлив был ждать, зябнуть и даже скучать. Наконец девушка показывалась, быстрым шагом подходила к нему, улыбающаяся, растроганная, обеспокоенная, не продрог ли он. По ее глазам он видел, когда все сходило благополучно, и радовался не меньше ее самой. Но чаще она возвращалась с пустыми руками; чтобы получить деньги, приходилось наведываться два-три дня подряд. Хорошо еще, если ей не делали грубых замечаний и не возвращали заказа. Как раз сегодня ей устроили целый скандал из-за миниатюры, сделанной по фотографии одного почтенного покойника, которого она никогда не видела. Родные возмущались тем, что она не передала в точности цвет его глаз и волос. Придется переделывать! Склонная видеть смешное в своих житейских невзгодах, она посмеивалась, бодрилась; но Пьеру это не казалось смешным; он выходил из себя:

— Идиоты! Какие идиоты!

Рассматривая фотографии, которые Люс предстояло воспроизвести в красках, Пьер кипел от негодования (до чего ее забавляла эта смешная ярость!) при виде тупых физиономий, застывших в торжественной улыбке. Он считал кощунством, что милые глаза Люс должны созерцать, а руки воспроизводить эти грубые лица. Нет, это возмутительно! Лучше уж копировать картины старых мастеров; но на это нечего было рассчитывать: закрывались последние музеи, искусство больше не интересовало заказчиков. Прошла пора пресвятых дев и ангелов, налетала пора солдата. В каждой семье был свой живой мертвый, чаще мертвый, и семья хотела увековечить его черты. Богатые заказывали копии в красках; работа эта неплохо оплачивалась, но, к сожалению, перепадала все реже и реже; приходилось быть покладистее! Скоро кончится и это — ничего больше не останется, как делать за грошовую плату увеличенные копии с фотографий.

Словом, Люс уже не было надобности находиться в городе: работа в музее отпала; бывать в магазине — получать и сдавать заказы — требовалось не чаще двух-трех раз в неделю; а работать можно и дома. Это не очень-то устраивало юных друзей. Они кружили по улицам, не решаясь повернуть обратно к трамвайной остановке.

Почувствовав усталость и продрогнув от холодного, пронизывающего тумана, они зашли в церковь; усевшись тихонько в уголке одного из приделов и любясь витражами, они заговорили вполголоса о мелочах жизни. Время от времени наступало молчание, и душа, освобожденная от слов (ибо не смысл слов имел для них значение, но самое дыхание их жизнью, соприкасавшихся трепетно и тайно), продолжала другую беседу, более значительную

и сокровенную. Призрачные видения витражей, сумрак меж колонн, убаюкивающее пение псалмов — все это сливалось с их мечтами, напоминало о горестях жизни, о которых хотелось забыть, порождало умиротворение, мысли о бесконечном. Хотя было уже около одиннадцати часов, желтоватый сумрак наполнял храм, как масло — священный сосуд. Сверху, откуда-то издалека, падали неясные отблески, темнел пурпур цветного стекла, скользил алый блик среди лиловых тонов, смутно различались лики в черных рамах. В высокой стене мрака зияла, словно рана, полоса кровавого света.

Люс прервала молчание:

— Вас должны взять?

Он сразу понял ее, ибо его мысль в тишине следовала тою же темной тропой.

— Да, — ответил он, — не надо об этом говорить.

— Скажите только одно: когда?

Он ответил:

— Через полгода.

Она вздохнула.

— Не стоит говорить об этом, — заметил Пьер, — ведь не поможет.

— Да, не поможет, — отозвалась она.

Сделав над собой усилие, чтобы отогнать печальную мысль, они мужественно (пожалуй, следовало бы сказать наоборот: «трусливо»)? Кто знает, в чем состоит истинная храбрость!) заставили себя говорить о посторонних вещах: о звездах свеч, мерцавших в дымке храма; о заигравшем органе; о церковном стороже, прошедшем мимо; о коробке с сюрпризами — сумочке Люс, в которой беззастенчиво шарили пальцы Пьера — надо же было развлечься чем-нибудь. Ни он, ни она не допускали даже мысли уйти от рока, грозившего разлучить их. Противостоять войне, пойти против течения, уносившего за собой целый народ, это все равно что поднять церковь, прикрывшую их своим щитом! Единственным спасением было не думать, не думать, до последней минуты, надеясь втайне, что она никогда и не наступит. А до той поры не омрачать своего счастья.

Когда они шли по улице, оживленно болтая, Люс вдруг дернула Пьера за рукав, приглашая взглянуть на витрину обувного магазина. Он заметил, что взгляд ее умильно ласкает пару высоких ботинок из тонкой кожи со шнуровкой.

— Недурны! — заметил он.

— Душки! — вырвалось у нее.

Это выражение рассмешило его; она тоже засмеялась.

— Но, пожалуй, чуточку велики?

— Нет, как раз впору.

— Так не купить ли?

Она сжала его руку и потянула прочь от витрины — от соблазна.

— Будь мы при деньгах... (И — напевая на мотив: «Станцуем капуцину...») Но это не для нас!

— Почему? Золушка ведь надела туфельки!

— В ту пору еще водились феи.

— А в наши времена еще водятся влюбленные.

Она пропела:

— Нет, нет и нет, мой милый друг!

— Почему же нет, раз я вам друг?

— Именно потому.

— Именно потому?

— Да, от друга нельзя брать.

От кого же можно? От врага?

— От постороннего, ну хотя бы от моего скупщика, если бы этот скряга расщедрился дать мне аванс!

— Но, Люс, ведь и я тоже имею право заказать вам картину!

Она прыснула и остановилась:

— Мне — картину! Бедняжка, да на что она вам нужна? Спасибо и за то, что вы их смотрели. Я и сама знаю, что это за стряпня... Она застрянет у вас в горле.

— Вовсе нет. Были очень приятные миниатюры. Да и о чем толковать, раз у меня такой вкус?

— Он сильно изменился со вчерашнего дня!

— А разве нельзя меняться?

— Нельзя... если дружишь.

— Ну сделайте мой портрет!

— Еще что! Теперь подавай ему портрет!

— Я не шучу! Неужели я хуже этих болванов?

В невольном порыве она сжала ему руку:

— Милый!

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Но я прекрасно слышал.

— Ну и держите про себя!

— Не буду держать... верну вам вдвойне... милая, милая... Итак, вы делаете мой портрет, не правда ли? Решено?

— А есть у вас фотография?

— Нет.

— Как же быть? Не рисовать же мне вас посреди улицы?

— Вы говорили, что дома вы почти всегда одна?

— Да, в те дни, когда мама на заводе... но я не решаюсь...

— Вы опасаетесь, что нас могут увидеть?

— Нет, не то... да у нас и нет соседей.

— Чего же вы боитесь?

Она промолчала.

Они дошли до трамвайной остановки. Здесь было много ожидавших, но в тумане, по-прежнему скрывавшем их от посторонних глаз, никто не видел юной пары; Люс избегала смотреть на Пьера. Он взял обе ее руки в свои, нежно сказал:

— Милая, не бойтесь ничего...

Она подняла глаза, и глаза их встретились; взгляд у обоих был такой открытый!

— Я верю вам, — промолвила она.

И опустила веки. Она чувствовала, что для него она — святыня. Они разомкнули руки. Трамвай уже трогался. Взгляд Пьера вопрошал Люс.

— Когда же? — спросил он.

— В среду, — ответила Люс, — приходите часам к двум...

На лице ее снова заиграла лукавая улыбка, и на прощание она шепнула ему на ухо:

— Все-таки захватите с собой снимок. Я не так искусна, чтобы рисовать с натуры... Ну-ну, я знаю, что он у вас есть, притворщик вы этакий!

\* \* \*

По ту сторону Малахова. Улица — точно щербатый рот: вся прорезана пустырями, которые тянутся вдаль к неприглядному поселку, где за дощатыми заборами пестреют лачуги старьевщиков. Серое, тусклое небо опустилось на бледную землю, тощее чрево которой курится туманом. Воздух скован холодом. Домик Люс нетрудно найти: последний из трех, стоящих на одной стороне улицы. Напротив — пустырь. Двухэтажный домик в обнесенном забором небольшом дворе, два-три чахлая деревца, занесенный снегом квадрат огорода.

Пьер вошел бесшумно: снег заглушил его шаги; но занавеска в окне нижнего этажа шевельнулась; он подходит к двери — дверь открывается, и Люс стоит на пороге. В

полутемной прихожей они здороваются сдавленными голосами; она ведет его в первую комнату — столовую; здесь она работает; у окна стоит мольберт. Сначала они даже не знают, что сказать: слишком много думали они об этой встрече, и заранее приготовленные фразы застревают в горле; они говорят вполголоса, хотя в доме никого нет; именно поэтому. Напряженно вытянув руки, они сидят на почтительном расстоянии друг от друга; Пьер даже не опускает воротника пальто; говорят о похолодании, о часах прихода загородного трамвая, и досаждают на свою глупость.

Наконец, поборов смущение, Люс спрашивает, принес ли он фотографии. И стоит ему вынуть их из кармана, как оба оживляются. Фотографии — это как бы свидетели, при которых им легче вести беседу, они уже не совсем одни, на них смотрят чьи-то глаза, отнюдь их не стесняя. Пьер догадался (на всякий случай) захватить с собой все свои фотографии с трехлетнего возраста; среди них есть и снимок Пьера в юбочке. Люс в полном восторге смеется; она говорит малышу смешные, ласковые слова. Может ли что-нибудь живее тронуть сердце женщины, чем детский портрет того, кто ей дорог? Мысленно она баюкает его, дает ему грудь; она готова поверить, что носила его под сердцем! К тому же (она ведь с хитрецей) очень удобно высказать крошке то, что не решаешься сказать взрослому. На его вопрос, какая из фотографий ей больше нравится, она, не задумавшись, отвечает:

— Вот этот милый малыш...

Ах, какой у него серьезный вид! Пожалуй, серьезнее, чем теперь. Конечно, если бы Люс решилась (она и решилась) взглянуть для сравнения на теперешнего Пьера, она увидела бы в его глазах доверчивость и детскую радость, чего не было у ребенка; глаза ребенка из обеспеченной семьи, которого держат под стеклянным колпаком, — лишены света глаза птички, запертой в клетке. Но свет блеснул, ведь правда, Люс? Он тоже хочет поглядеть фотографии Люс. Она показывает ему девочку лет шести с толстой косичкой, — девочка обнимает щенка, и Люс, взглянув на свою фотографию, думает не без лукавства, что и тогда она любила не менее горячо, не менее преданно; и тогда она отдавала сердце своему другу — собачке, которая, пока Люс ожидала любимого, заменяла ей его. Потом она показала девочку лет тринадцати-четырнадцати, изгибавшую шейку с кокетливым и несколько жеманным видом; к счастью, в уголках губ таилась ее всегдашняя лукавая усмешка и как бы говорила:

— Знаете, это я просто забавляюсь... Я себя еще не принимаю всерьез...

Смущения как не бывало!

Люс принялась набрасывать портрет Пьера. Ему двигаться было нельзя, говорить можно было, чуть шевеля губами, и Люс болтала без умолку, за двоих. Женское чутье подсказывало ей, что молчать не нужно. Как это случается с людьми чистосердечными, когда они разговариваются, она вскоре поверила Пьеру все сокровенные тайны своей жизни и жизни близких, говорить о которых вовсе и не предполагала. Она сама с удивлением слушала свою болтовню, но уже не могла остановиться: молчание Пьера было как бы скатом, по которому лился этот словесный поток.

Она рассказала ему о своем детстве, проведенном в провинции; родилась она в Турени. Мать ее, девушка из зажиточной и почтенной буржуазной семьи, увлеклась учителем, сыном фермера. Богатая семья была против их брака; но влюбленные настояли на своем; дождавшись совершеннолетия, девушка обратилась к властям с официальным заявлением. После этого родители отказались от нее. Для юной четы потянулись годы любви и бедности. В борьбе за кусок хлеба отец надорвался; его сломила болезнь. Жена мужественно взвалила на свои плечи и это бремя, она работала за двоих. Родные, закоснев в своем уязвленном тщеславии, отказывались помочь им хоть немного. Больной скончался незадолго до начала войны. Мать с дочерью и не пытались возобновить отношения со своей родней, хотя она приютила бы девушку, если бы та сделала первые шаги, которые были бы восприняты как искупление проступка матери. Но этого они не дождутся! Лучше уж как-нибудь перебиваться!

Такое жестокосердие богатой родни поразило Пьера.

Люс утверждала, что это далеко не единичный случай.

— Вы думаете, мало таких людей? В общем не злых. И я уверена, что дед с бабушкой не



злые, уверена даже, что им было трудно не сказать нам: «Вернитесь!» Но их самолюбие было слишком уязвлено. А самолюбие — это самое сильное, что только есть в человеке. Оно берет верх над всеми чувствами. Если вы оскорбили их, они воспринимают это не только как личную обиду, но как Неправоту вообще! Другие — неправы, а они — они непогрешимы! И, в сущности не злые (нет, право, не злые), они скорее дадут вам умереть медленной смертью в двух шагах от себя, чем согласятся признать, что они сами, быть может, неправы. И разве мало таких? Да сколько угодно! Вы думаете, нет? Скажите, разве не все они такие?

Пьер задумался. Слова Люс поразили его.

— Да, — говорил он себе, — они именно такие...

И вот глазами этой девочки он увидел духовную нищету и пустынное бесплодие того общества, к которому он сам принадлежал, — класса буржуазии. Сухая, истощенная земля, утратившая мало-помалу все жизненные соки и уже не пополнявшая их, подобно тем азиатским странам, где живительные реки ушли, капля за каплей, в прозрачный, как стекло, песок. Даже тех, кого они, казалось им, любили, они любили собственнически, принося их в жертву своему эгоизму, своему тупому тщеславию, своему косному, ограниченному уму. Пьер с грустью обратил мысленный взор на самого себя и на своих родных. Он молчал. Оконные стекла дребезжали от отзвуков далекой канонады. Пьер, подумав о тех, кто погибал, произнес с горечью:

— Это тоже их черное дело.

Да, за все — за хриплый лай пушек, там, вдали, за всеобщую бойню, за великое бедствие народов — за все это большую долю ответственности несла та же буржуазия, тщеславная и ограниченная, несли ее жестокосердие, ее бесчеловечность. И вот теперь (и это справедливо) сорвавшееся с цепи чудовище не остановится, пока не пожрет ее самое.

«— Да, это так», — сказала Люс.

Сама того не подозревая, она невольно следовала за мыслью Пьера; тот вздрогнул, услышав этот отклик.

— Да, это так, — повторил он, — справедливо все, что совершается. Этот мир слишком стар, он должен умереть, и он умрет.

Люс, покорно опустив голову, грустно проговорила:

— Да.

Строгие лица детей, склонившихся перед роком, с челом, омраченным заботой и безотрадными мыслями!..

Сумерки в комнате сгущались. Становилось холодно. Руки у Люс озябли, и она оставила работу, на которую Пьеру не разрешено было смотреть. Они подошли к окну и залюбовались закатом, раскинувшимся над простором полей и лесистыми холмами. Темно-лиловые леса вырисовывались полукругом на зеленом небе, подернутом бледно-золотистой пылью. Здесь витала частица души Пювис де Шаванна. Одно краткое замечание Люс дало Пьеру почувствовать, что она понимает тайную гармонию природы; он взглянул на нее с удивлением. Люс, ничуть не обидевшись, сказала, что можно уметь чувствовать и не обладая способностью выразить свои чувства. Не ее вина, если она плохо рисует. Из недальновидной экономии она не окончила курса в Школе декоративных искусств. Впрочем, только бедность заставила ее взяться за кисть. Зачем рисовать, если нет потребности? Разве Пьер не находит, что почти все, кто посвящает себя искусству, делают это без настоящего призвания, а или из тщеславия, или от безделья, либо оттого, что вначале им казалось, что они одарены, а потом уже не хотелось признать свою ошибку? Надо браться за искусство только в том случае, если человек никак не может сдерживать переполняющие его чувства, если они бьют через край. Но у нее, сказала Люс, их было как раз на одного.

— Ну, на двоих, — добавила она, заметив, что Пьер надулся.

Великолепные золотистые тона неба потускнели. На пустынную равнину лег отпечаток уныния. Пьер спросил Люс, не страшно ли ей одной в таком глухом углу.

— Нет.

— А когда возвращаетесь поздно?

— Здесь неопасно. Бандиты сюда не заглядывают. У них свои обычаи. Ведь это тоже в своем роде буржуа. И потом тут рядом живет старик тряпичник с собакой. Да я и не боюсь. О, я этим не хвастаю. Никакой заслуги тут нет. Это не храбрость. Просто мне еще не пришлось испытать настоящий страх; а когда придется, я, быть может, окажусь трусливее других. Разве знаешь, каков ты на самом деле?

— Я-то знаю, какая вы, — вставил Пьер.

— Это гораздо легче. Я тоже знаю... вас. Других всегда лучше знаешь.

Сквозь закрытые окна проникала холодная вечерняя сырость. Пьер поежился. Люс инстинктивно почувствовала его озноб и поспешила приготовить и вскипятить на спиртовке чашку шоколада. Они подкрепились. Люс по-матерински укутала Пьера платком; он не противился, нежась, как котенок, в теплоте шерсти. Мысли их снова вернулись к прерванной беседе.

Пьер спросил:

— Вы с вашей матерью — обе такие одинокие, — наверное, очень близки?

— Да, — ответила Люс, — были близки.

— Были? — переспросил Пьер.

— О, мы и сейчас очень любим друг друга! — Люс досадовала на себя за это случайно вырвавшееся слово. (Почему она всегда говорила ему больше, чем следовало? Он ведь не расспрашивал ее, не решался расспрашивать. Но Люс чувствовала, что сердце Пьера вопрошало ее. А это так сладко — довериться другу, впервые в жизни! Тишина дома и полумрак комнаты располагали к откровенности.) Она сказала:

— За последние четыре года произошло столько непонятого! Все так изменились!

— Вы хотите сказать, что ваша мать изменилась или вы сами?

— Все изменились, — повторила Люс.

— Но в чем?

— Трудно сказать. Только чувствуешь, что везде, среди знакомых и даже в семье, уже не те отношения. Ни в ком нельзя быть уверенным; встаешь утром и думаешь: «Что-то принесет вечер? Узнаю ли я своих близких?» Точно барахтаешься в волнах, держась за дощечку, и она вот-вот перевернется.

— Но что, собственно, произошло?

— Не знаю, — ответила Люс, — не могу объяснить. Но это — с войны. Что-то носится в воздухе. Все в смятении. Видишь семьи, где люди не могли дышать друг без друга, а теперь они расходятся в разные стороны, и каждый, как в беспмятстве, бредет куда глаза глядят...

— Куда же?

— Не знаю. И сами-то они, должно быть, не знают. Куда их поманит случай и жажда удовольствий. Женщины заводят любовников. Мужья бросают жен. А все это, казалось бы, порядочные люди, всегда были такие уравновешенные, благоразумные. Только и разговора, что о разбитых семьях. То же и у родителей с детьми. У моей мамы...

Она замялась, потом добавила:

— У мамы своя жизнь.

И опять запнулась.

— О, это так понятно! Она еще молода, бедняжка видела так мало радости в жизни! Запас ее любви не истрачен. Она хочет создать себе новую жизнь, и она права.

Пьер спросил:

— Она собирается еще раз выйти замуж?

Люс неопределенно покачала головой. Пока еще ничего не известно... Пьер не осмелился расспрашивать.

— Она и теперь меня любит. Но уже не так, как раньше... Теперь можно обойтись и без меня... Бедная мама! Она так огорчилась бы, если бы поняла, что привязанность ко мне уже не на первом месте в ее сердце. Она в этом ни за что не сознается...

— Странная штука — жизнь!

Люс улыбалась — нежно, печально и лукаво. Пьер ласково положил руку на ее пальцы,

лежавшие на столе, и оба замерли.

— Бедные мы создания! — проговорил он.

Помолчав с минуту, она отозвалась:

— У нас-то с вами на душе спокойно!.. А другие — как в лихорадке. Война. Заводы. Надо спешить! Торопиться жить, работать, наслаждаться...

— Да, — подтвердил Пьер, — сейчас миг жизни короток.

— Тем более незачем спешить, — ответила Люс, — слишком скоро придешь к концу. Давайте идти потихонечку.

— Но сама жизнь мчится, — возразил Пьер. — Давайте же держать ее крепче.

— Я держу ее, держу, — проговорила Люс, сжимая его руку.

Так беседовали они-то шутливо, то серьезно, точно два добрых, старых друга. И настороженно следили, чтобы между ними находился стол.

Вдруг они заметили, что в комнате уже совсем стемнело. Пьер поспешно встал, Люс его не удерживала. Краткий миг прошел. Они страшались того, который мог наступить. Прощание вышло натянутое, голоса их звучали так же глухо и неестественно, как и при встрече. На пороге они едва решились пожать друг другу руки.

Но уже за дверью, перед тем как выйти из сада, Пьер оглянулся на окно столовой, догоравшее медным отблеском сумерек, и увидел в зыбком полусвете страстное выражение лица Люс, смотревшей ему вслед. Он вернулся, прильнул губами к окну — и они поцеловались через стеклянную преграду. Затем Люс отступила в темноту, и занавеска упала.

Уже недели две они ничего не знали о том, что происходило на свете. В Париже могли без конца арестовывать и выносить приговоры. Германия могла подписывать и расторгать соглашения. Правительства могли лгать, пресса — метать грома и молнии, армии — убивать. Пьер и Люс газет не читали. Они знали, что кругом идет война, как свирепствует тиф или инфлюэнца, но старались забыть, не думать об этом.

Однако в эту ночь она им напомнила о себе. Они уже легли (так много душевного пыла тратили они за день, что к вечеру ими овладевала усталость). Услыхав, каждый в своем квартале, тревогу, они решили не вставать; только закутались плотнее, спрятали голову под одеяло, как дети во время грозы, вовсе не из страха (они были уверены, что с ними ничего не случится), а чтобы спокойно помечтать. Прислушиваясь в темноте к гулу, наполнявшему воздух, Люс думала:

«Как хорошо было бы слушать грозу в его объятиях!»

Пьер зажимал уши: пусть ничто не мешает ему сосредоточиться! Вновь и вновь он воспроизводил на клавиатуре своей памяти песнь сегодняшнего дня, мелодическое течение часов с той первой минуты, как он вошел в домик Люс, схваченные на лету оттенки ее голоса и движений, все мимолетные впечатления — тень от ресниц, легкий трепет, пробежавший по ее лицу, словно зыбь по воде, улыбку, скользнувшую по губам, как луч света, и ласку двух теплых протянутых ручек, между которыми задержалась его ладонь, — все эти драгоценные осколки пыталась соединить в одно целое волшебная фантазия любви. Пьер оберегал этот мир от вторжения жизни. Все житейское было для него непрошеным гостем... Война? Знаю, знаю. Она здесь? Пусть подождет!.. И война терпеливо дожидалась у порога. Она знала, что придет и ее час. Он тоже это знал и не стыдился своего эгоизма. Скоро и его захлестнет волна смерти. А до той поры он ничего не обязан ей отдавать. Ничего! Пусть зайдет за долгом по истечении срока! А сейчас пусть молчит! Ах, хотя бы до той поры, он ничего не желает терять из этого восхитительного времени, каждая секунда — крупинка золота, а он — скупой, перебирающий свои сокровища. Это мое, мое богатство. Не трогайте моего покоя, моей любви! Это мое, до того часа... А когда этот час настанет?.. Может быть, и не настанет! Чудо?.. Почему бы и не случиться чуду?

Между тем поток часов и дней продолжал свой бег. На каждом повороте приближался грохот стремнин. Уносимые течением в своем челне, Пьер и Люс слышали его; но им уже не было страшно. Этот могучий рокот, словно басы органа, баюкал их любовный сон. А когда перед ними разверзнется бездна, они закроют глаза, теснее прижмутся друг к другу — и все

будет кончено. Их ждет бездна — так незачем утруждать себя мыслями о жизни, о безрадостном будущем. Люс предвидела преграды, с какими столкнется Пьер, когда встанет вопрос о их браке; те же опасения, хотя и более смутные (он меньше ее любил ясность), возникали и у Пьера. Но зачем заглядывать так далеко? Жизнь после бездны — это как та «иная жизнь», о которой твердят в церкви. Говорят, что мы там встретимся снова, но никто в этом не уверен. Достоверно одно: сегодняшней день — наш день. Вольем же в него, не раздумывая, всю нашу долю вечного.

Люс еще менее внимательно, чем Пьер, следила за событиями. К войне она оставалась совершенно безучастной. Это только лишнее бедствие в той цепи бедствий, из которых соткана человеческая жизнь. Война пугает только тех, кто отгорожен от ужасов жизни. И молодая девушка, преждевременно познавшая, что такое борьба за хлеб насущный, — *rapet quotidianum...* (господь бог не дает его даром!) открывала глаза своему обеспеченному другу на ту беспощадную войну, которая для бедных и в особенности для женщин никогда не прекращается и царит на земле, прикрытая обманчивым покровом мира. Она многого не договаривала, она боялась причинить Пьеру слишком сильную боль; видя, что ему страшно от ее рассказов, и сознавая свое превосходство, она проникалась к нему дружелюбным снисхождением. Люс, подобно большинству женщин, не питала ни физического, ни духовного отвращения к уродливым сторонам жизни, которые оскорбляли чувства юноши. В ней не было мятежного начала. Если бы раньше ей пришлось очень трудно, она ради заработка могла бы без отвращения согласиться на унижительное занятие и, бросив его, чувствовать себя спокойной и чистой, без единого пятнышка на совести. Но теперь она уже не могла! Теперь, когда она узнала и полюбила Пьера, ей передались склонности ее друга, его отвращение к некоторым вещам. Но от природы она была совсем иной: отнюдь не печальной, а спокойной и жизнерадостной. Беспредметная тоска, возвышенная отрешенность от жизни были ей чужды. Жизнь есть жизнь. Надо принимать ее такой, как она есть. Она могла бы быть и хуже! Превратности необеспеченного существования, требовавшего вечной изворотливости, особенно во время войны, научили Люс не задумываться о завтрашнем дне. Притом этой свободомыслящей маленькой француженке было несвойственно стремление к потустороннему. Ей было достаточно и земной жизни. Люс находила, что эта жизнь хороша, но все в ней держится на волоске, этому волоску ничего не стоит оборваться, и, право же, незачем беспокоиться о том, что случится завтра. Глаза мои, пейте сияние, которое изливается на вас в этот миг! А там будь что будет. Сердце мое, беззаботно доверься течению!.. Ничего ведь не изменишь!.. Вот мы влюблены, и разве это не восхитительно? Люс знала, что это ненадолго. Но ведь и жизнь ей дана ненадолго...

Как не походила она на этого любимого ею и любящего ее мальчика, нежного, пылкого и нервного, счастливого и несчастного, который и радовался, и страдал слишком сильно, страстно отдавался, страстно сопротивлялся и был ей дорог именно потому, что совсем не был похож на нее! Но оба по безмолвному уговору решили не заглядывать в будущее; она — безропотный ручеек, напевающий песенку, — в силу своей беспечности, он — в силу страстного неприятия, погрузившего его в пучину настоящего, в котором он хотел бы остаться навсегда.

\* \* \*

Старший брат приехал в отпуск на несколько дней. С первого же вечера он почувствовал в семье перемену. Какую именно? Сказать он не мог, но ему было не по себе. У души есть щупальца, осязающие на расстоянии то, чего еще не осознал разум. И самые тонкие — это щупальца самолюбия; они шевелились, искали и недоумевали: чего-то не хватает... Разве не было все того же круга любящих людей, отдававшего ему обычную дань восхищения, — внимательной аудитории, которую он скупно оделял своими рассказами, родителей, окутывавших его своим трогательным обожанием, младшего брата?.. Стоп! Его-то и нет на перекличке.

Он, правда, присутствовал, не увиваясь вокруг старшего и не смотря ему в глаза, как прежде, ожидая душевных бесед, между тем как Филиппу доставляло удовольствие не замечать этого. Жалкое самолюбие! Раньше Филипп при нетерпеливых расспросах младшего напускал на себя снисходительно-насмешливый и усталый вид, а теперь он был недоволен его молчанием и сам попытался его раззадорить; он разговорился, поглядывая на Пьера, как бы давая ему понять, что делает это только для него. Прежде Пьер, радостно встрепенувшись, подхватил бы на лету брошенный ему платок. Теперь он спокойно предоставил Филиппу самому поднимать его, если это ему угодно. Филипп, задетый за живое, пустил в ход иронию. Пьер не растерялся и отпарировал в том же непринужденном тоне. Филипп попробовал завязать спор, разгорячился, стал рассыпать цветы красноречия, но скоро заметил, что разглагольствует в пустоте. Пьер только наблюдал за ним, как бы говоря:

— Продолжай, продолжай, дружище! Раз тебе это доставляет удовольствие! Я слушаю...  
А на губах дерзкая улыбочка! Роли переменялись.

Филипп, обиженный, замолчал и начал присматриваться к младшему брату, уже не обращавшему на него внимания. Как он изменился! Родители, постоянно видевшие его, ничего не замечали, но пронизательные и вдобавок ревнивые глаза Филиппа, увидев Пьера после нескольких месяцев разлуки, не находили у него привычного выражения. Пьер выглядел счастливым, томным, беспечным, ушедшим в себя, равнодушным к людям, невнимательным ко всему окружающему, витающим, подобно молодой девушке, в мире упоительных грез. И Филипп понял, что мысли брата им уже не заняты.

Умея читать в себе самом не хуже, чем в других, он скоро понял, что ему это досадно, и посмеялся над собой. Но, заставив замолчать свое самолюбие, он устремил все внимание на Пьера; ему хотелось найти разгадку этой перемены, вызвать Пьера на откровенность; но это было для него непривычным делом, к тому же и Пьер, по-видимому, вовсе не намерен был пускаться в откровенности; с независимым, небрежным и насмешливым видом наблюдал он за неискренними попытками Филиппа поймать его на удочку; руки в карманах, насвистывая песенку, он улыбался, думая о чем-то своем, рассеянно отвечал на вопросы, не вникая в их смысл, и тотчас же замыкался в себе. До свиданья! Его уже здесь нет. Вы только тщетно ловили руками его ускользающее отражение в воде. И Филипп, как покинутый любовник, потеряв это сердце, только теперь по-настоящему оценил его и проникся обаянием его тайны.

Ключ к загадке был им найден совершенно случайно. Вечером, идя домой по бульвару Монпарнас, он столкнулся во мраке с Пьером и Люс. У него мелькнуло опасение, что они его заметили. Но какое им было дело до окружающих! Рука об руку — Пьер поддерживал Люс под локоть, переплетая пальцы с ее пальцами, — они шли медленным шагом, прижавшись друг к другу с жадной, неутолимой нежностью Амура и Психеи, возлежащих на брачном ложе Фарнезины; их взгляды, точно воск, таяли и сливались в ласке. Прислонившись к дереву, Филипп видел, как они прошли мимо, остановились, двинулись дальше, скрылись во мраке. Сердце его наполнилось жалостью к этим детям. Он думал:

«Моя жизнь принесена в жертву. Пусть будет так. Но как несправедливо брать и эти! Если бы я мог заплатить собою за их счастье!..»

Утром Пьер, несмотря на свое вежливое безучастие, все же заметил — правда, это дошло до его сознания не сразу, — как ласково разговаривает с ним брат. И, наполовину очнувшись, Пьер увидел уже забытое им, доброе выражение его лица. Филипп пристально глядел на него, и Пьеру показалось, что брат видит его насквозь; он неловко попытался запереть свою тайну на замок. Филипп улыбнулся, поднялся, положил руку на плечо Пьера и предложил прогуляться. Пьер не мог оттолкнуть брата, возвращавшего ему свое дружеское расположение, и они отправились в Люксембургский сад. Гуляя, старший все время держал руку на плече младшего; и тот, гордясь, что между ними воцарилось согласие, разговорился. Братья оживленно беседовали на отвлеченные темы, о том, что они узнали на опыте, обменивались суждениями о людях, о прочитанных книгах, — обо всем, кроме того, что их больше всего занимало. Это было как бы молчаливым уговором. Таким счастьем было чувствовать себя близкими и вместе хранить тайну! Беседа с братом, Пьер терялся в

догадках:

«Знает ли он? Но откуда?»

Филипп слушал его болтовню и улыбался. Пьер остановился на полуслове.

— Ты что?

— Ничего. Смотрю на тебя. Я доволен.

Рукопожатие. На обратном пути Филипп спросил:

— Ты счастлив?

Пьер, не отвечая, утвердительно кивнул головой.

— Ты прав, дружок. Счастье прекрасно... Бери и мою долю.

Пока длился отпуск, Филипп, не желая портить брату настроение, избегал всяких упоминаний о скором призыве Пьера. Лишь в день отъезда он не удержался и высказал брату свое беспокойство: скоро и ему предстоит пройти сквозь те же, хорошо знакомые испытания. Быть может, лишь на секунду легкая тень омрачила лоб юного влюбленного. Он чуть сдвинул брови, замигал глазами, как бы отгоняя докучный призрак, и сказал:

— Ничего! Еще не скоро! Chi lo sa!<sup>5</sup>

— Мы-то знаем слишком хорошо, — заметил Филипп.

— Я, во всяком случае, знаю одно, — отрезал Пьер, рассерженный настойчивостью брата: — Когда я окажусь там, я убивать не стану.

Филипп промолчал и только грустно улыбнулся; он-то знал, что делала со слабыми существами и их волей неумолимая стадная сила.

\* \* \*

Наступил март... Длиннее дни, и первые песни птиц. Но с притоком весеннего света еще ярче вспыхнуло зловещее пламя войны. Воздух был накален ожиданием весны и военных бедствий. Слышно было, как нарастал громовой раскат, как гремело оружие несметных врагов, месяцами скопившихся у плотины траншей и готовых хлынуть яростным разливом в Иль-де-Франс и в его сердце — в Париж. Зловещей тенью ползли недобрые слухи: тревожные толки об удушливом газе-яде, разлитом в воздухе, который вскоре, как говорили, распространится по всей Франции и умертвит все живое, подобно удушливой пелене вулкана Мон-Пеле; а все учащавшиеся налеты «готов» искусно поддерживали нервное напряжение в Париже.

Пьер и Люс относились все так же безучастно к тому, что творилось вокруг; но горячий воздух предгрозя, которым они невольно дышали, разжигал томившее их желание. Три года войны вызвали в Европе падение нравов, которое коснулось и самых чистых. Кроме того, Пьер и Люс были неверующие. Их оберегало благородство их чувств и врожденная чистота. Уже давно они втайне решили, что станут близки прежде, чем их разлучит слепая человеческая жестокость. Сегодня вечером они сказали это друг другу.

Раза два в неделю мать Люс дежурила в ночной смене на заводе. Люс, не желая оставаться одна в пустынном квартале, ночевала в Париже у приятельницы. Здесь за ней не следили. Влюбленные пользовались случаем провести часть вечера вместе; иногда они позволяли себе скромно поужинать в ресторанчике. В этот мартовский вечер, выйдя из ресторана, они услышали сигнал воздушной тревоги. Точно застигнутые ливнем, они бросились в ближайшее укрытие и некоторое время развлекались наблюдениями над своими случайными соседями. Им показалось, что опасность уже далека или совсем миновала, и, боясь попасть домой очень поздно, они, не дождавшись гудка, пустились в путь, весело болтая. Они свернули в старую, темную и узкую улочку, неподалеку от церкви Сен-Сюльпис, обогнали экипаж с возницей, дремавшим, так же, как и его лошадь, у каких-то ворот, отошли от него шагов на двадцать и были уже на другой стороне улицы, когда внезапно все вокруг

---

<sup>5</sup> Как знать! (итал.)

содрогнулось: огненно-красная вспышка, громовой удар, град сорванных черепиц и разбитых стекол. Прижавшись к стене во впадине какого-то дома, резким углом выступавшего на улицу, они обнялись. При вспышке молнии их взгляды, полные ужаса и любви, встретились. И во вновь воцарившемся мраке прозвучал умоляющий голос Люс:

— Нет! Я еще не хочу!..

Губы Пьера почувствовали губы Люс, прильнувшей к нему в страстном поцелуе. Оба почувствовали, что по их телу пробежал трепет, потом оба замерли во мраке. Неподалеку от них люди, вышедшие из домов, вытаскивали из-под обломков расколотого в щепки экипажа полумертвого возницу; его пронесли мимо, совсем близко от них; на мостовую капала кровь. Пьер и Люс еще стояли в оцепенении, прижавшись друг к другу, и когда они пришли в себя, им показалось, что они лишены покровов. Они разжали руки и слившиеся губы, которые, словно корни, пили любимое существо. Их охватила дрожь.

— Вернемся! — промолвила Люс, объятая священным ужасом.

Она увлекла его за собой.

— Люс, ты не дашь мне уйти из этой жизни, прежде чем.

— О боже! — молвила Люс, сжимая ему руку. — Это было бы хуже смерти...

— Любовь моя! — сказали оба. Они опять остановились.

— Когда же я стану твоим? — спросил Пьер.

(Он не осмелился спросить: «Когда ты будешь моей?»)

Это не ускользнуло от Люс; она была тронута.

«— Ненаглядный мой», — сказала она, — скоро! Не торопи! Ты не можешь этого желать больше, чем я сама! Побудем еще немного вот так... Это так хорошо! Еще хотя бы до конца месяца!

— До Пасхи? — спросил он.

(В этом году Пасха приходилась на последний день марта.)

— Да, до светлого воскресения.

— Ах! — возразил он. — Этому воскресению предшествует смерть.

— Ш-ш! — Люс зажала ему рот поцелуем.

Они разомкнули объятия.

«— Сегодня наше обручение», — сказал Пьер.

Они шли в темноте, прильнув друг к другу, и тихо плакали от переполнявшей их нежности. Под ногами скрипели осколки стекла, тротуар был забрызган кровью. Смерть и ночь, притаившись, подстерегали их любовь. Но над их головами, точно над магическим кругом, в пролете между черными стенами улицы, узкой, как коридор, высоко-высоко, в густой тьме небес билось сердце звезды...

И вот запели колокола, зажглись огни. Улицы оживают! Воздух освобожден от врага. Париж перевел дыхание. Смерть отступила.

\* \* \*

Настала Вербная суббота. Они ежедневно проводили вместе несколько часов и даже не считали нужным скрываться. Им было уже не в чем отдавать отчет миру. Их связывали с ним такие тонкие нити, вот-вот готовые оборваться! Два дня назад началось решающее наступление германской армии. На пространстве чуть ли не в сто километров бушевали его волны. Город поминутно содрогался; взрыв в Курневе потряс Париж, подобно землетрясению; не прекращавшиеся тревоги разбивали сон и выматывали нервы. И вот ранним утром в Вербную субботу люди, только-только сомкнувшие глаза в ту беспокойную ночь, просыпались под гром неведомой пушки, которая из своей далекой засады, с того берега Соммы, словно с другой планеты, наугад метала смерть. При первых выстрелах, которые приписали сначала новому налету «готов», все послушно спрятались в подвалы; но постоянная опасность становится привычкой, к ней приспособливаешь свою жизнь и, пожалуй, находишь в ней нечто похожее на удовольствие, если она пережита совместно с

другими и не особенно велика. К тому же стояла такая прекрасная погода, что обидно было погреть себя заживо, и все вышли на воздух еще до полудня; улицы, сады, террасы кафе — все выглядело так празднично в этот лучезарный, солнечный полдень!

Этот-то полдень Пьер и Люс и выбрали для прогулки в Шавильском лесу, подальше от людей. Все эти десять дней их не покидало состояние тихого восторга, умиротворенности и нервного возбуждения, такое чувство, словно они — на островке, вокруг которого кружится водоворот. Опьяненные слух и зрение влекут тебя туда. Но ты зажмуриваешь глаза, зажимаешь руками уши, закрываешь дверь на засов, и вот в глубине души — тишина, солнечная тишина, неподвижный летний день, где незримая Радость, подобно притаившейся птичке, поет свою песню, журчащую и свежую, как ручеек. О Радость! Волшебная певунья, щебетание счастья! Я хорошо знаю, что достаточно щелчки между век или чтобы палец хотя бы на миг не зажимал уши, — и вновь вас обдаст пена и рев потока. Шлюз так слаб! И я знаю, что он ненадежен, и ярче разгорается моя Радость от нависшей над ней угрозы. Само спокойствие и тишина пронизаны дыханием страсти!..

Войдя в лес, они взялись за руки. Первые дни весны — новое вино, ударяющее нам в голову. Молодое солнце опьяняет нас чистейшим соком своей лозы. Еще не опушенный лес облит сиянием. Лазурное око неба меж голых ветвей завораживает и усыпляет разум... Они почти не разговаривали. Язык ленился договорить начатую фразу. Ноги подкашивались; шатаясь, они, как бы нехотя, брели среди солнечного безмолвия леса. Земля тянула их к себе. Так бы и лечь на дороге. Унести на ободе великого колеса мироздания...

Они взобрались по откосу, углубились в чащу, улеглись на мертвых листьях, сквозь которые уже пробивались фиалки. Первые песни птиц и отдаленный гул пушек сливались со звоном сельских колоколов, возвещавших о завтрашнем празднике. Сверкающий воздух был пронизан надеждой, верой, любовью, смертью. В этом уединении они говорили вполголоса. Сердце замирало — от счастья, от горя? Они сами не знали; на них нахлынули грезы. Люс неподвижно лежала на спине, вытянув руки вдоль тела и устремив в небо задумчивый взгляд; она чувствовала, как нарастает в ее душе затаенная боль, которую она с утра пыталась побороть, чтобы не омрачать радости этого дня. Пьер положил голову на колени Люс, в складки ее платья, касаясь лицом ее теплого живота, как спящий ребенок. Люс молча ласкала уши, глаза, нос и губы любимого. Казалось, на кончиках этих милых, одухотворенных любовью пальцев были, как в сказках, крошечные ротки. И Пьер, подобно чуткой клавиатуре, угадывал по легкому дрожанию ее пальцев о волнении в душе подруги. Он уловил ее вздох раньше, чем она вздохнула. Люс приподнялась и, подав шись вперед всем телом, задыхаясь, чуть слышно простионала:

— О Пьер!..

Пьер с изумлением взглянул на нее.

— О Пьер! Что мы такое? Чего от нас хотят? Чего хотим мы сами? Что творится в нас? Эта пушка, птицы, война, любовь... Эти руки, это тело, глаза... Где я? И что такое я сама?..

Пьер, никогда еще не выдавший ее в таком смятении, потянулся, чтобы ее обнять. Но она отстранилась.

— Нет, нет...

Закрыв лицо руками, она ничком упала в траву.

— Люс! — молвил Пьер.

Он наклонился к ней.

— Люс, — повторил он, — что с тобой? Это не из-за меня?

Она приподняла голову.

— Нет!

Но на глазах у нее он увидел слезы.

— Ты чем-то огорчена?

— Да.

— Но чем?

— Не знаю...



— Скажи мне...  
— Ах, мне стыдно! — проговорила она.  
— Стыдно? Чего?  
— Всего.  
Она замолчала.

С самого утра она находилась под гнетущим впечатлением грустной сцены, тягостной и унижительной: мать ее, отравленная дурманом распущенности, насыщавшим атмосферу больших заводов — этих чанов смерти, в которых бродили нездоровые страсти, — отбросила всякий стыд. У себя дома она устроила любовнику дикую сцену ревности, ничуть не смущаясь присутствием дочери; и Люс узнала, что мать беременна. Она восприняла это как нечто постыдное, осквернявшее и ее самое и любовь вообще, бросавшее тень даже на ее чувство к Пьеру. Вот почему, когда Пьер прикоснулся к ней, она оттолкнула его: ей было стыдно и за себя, и за него. Стыдно за него? Бедный Пьер!..

Он сидел рядом, обиженный, боясь пошевеливаться. Ей стало жаль его, она улыбнулась сквозь слезы и, положив голову ему на колени, сказала:

— Ну, теперь моя очередь...

Пьер, все еще встревоженный, осторожно проводил рукой по ее волосам, точно гладил котенка. Он пробормотал:

— Люс, чем ты расстроена? Скажи мне!

— Ничем, — ответила она, — просто я видела невеселое зрелище.

Из уважения к ее тайнам он не стал допытываться.

Минуту спустя она продолжала:

— Ах, бывают минуты, когда стыдишься, что ты человек!

Пьер вздрогнул.

— Да, — отозвался он.

Помолчав немного, он нагнулся и прошептал:

— Прости.

Люс, приподнявшись, закинула руки ему за шею и тоже сказала:

— Прости.

И губы их слились.

Детьми овладело страстное желание утешить друг друга. И каждый думал про себя:

«Хорошо, что мы скоро умрем!.. Было бы хуже стать такими, как эти люди, которые гордятся тем, что они люди и могут разрушать и осквернять».

Касаясь уст устами, ресниц — ресницами, погружая взгляд в глаза любимого, они улыбались с нежным состраданием. И все не могли насытиться этим прекрасным чувством — самым чистым из проявлений любви. Наконец они оторвались друг от друга, и Люс, взглянув вокруг просветленным взором, увидела всю прелесть неба, оживающих деревьев, уловила дыхание цветов.

— Как хорошо! — сказала она. А сама подумала:

«Почему все в природе так прекрасно? И только мы так убоги, ничтожны, уродливы!.. (Но не ты, моя любовь, не ты!)».

Затем снова взглянула на Пьера:

— Ах, что мне до других?

С очаровательной непоследовательностью влюбленных она расхохоталась, живо вскочила на ноги и побежала по лесу, крикнув Пьеру:

— Лови меня!

До самого вечера они резвились, как дети. И, утомленные, не торопясь, вернулись в долину, наполненную словно корзина — снопами цветов, снопами вечерних лучей. Все являлось их взору в новом свете — все, что они вкушали с наслаждением одним существом, одним сердцем.

Их было пятеро друзей и сверстников, собиравшихся вместе, пятеро товарищей по школе, со сходным во многом образом мыслей, близких по своим только еще складывающимся юношеским убеждениям, — это их связывало и отгораживало от других. Однако среди них не нашлось бы и двух, думающих одинаково. Под внешним единодушием сорока миллионов французов таится сорок миллионов людей, мыслящих каждый по-своему. Мысль Франции похожа на ее землю — страну мелких огороженных владений. Пятеро друзей — каждый со своего клочка — пытались поверх ограды обмениваться мнениями, но это приводило лишь к тому, что они еще крепче утверждались в своих взглядах. Впрочем, все они были свободомыслящими, и если не все являлись республиканцами, то все были врагами умственной или социальной реакции, противниками возврата назад.

Больше других был захвачен войной Жак Сэ. Этот благородный молодой еврей беззаветно разделял все увлечения мыслящей Франции. Во всей Европе его израильские со братья, подобно ему, сроднились с интересами и идеями той страны, которая стала их родиной. У них была даже склонность преувеличивать все, что они принимали. Этот красивый юноша со страстным, хотя немного тяжелым взглядом, звучным голосом, правильными, словно изваянными чертами лица, в своих убеждениях доходил до крайности и был неистов в спорах. По его мнению, речь шла о крестовом походе демократий с целью освободить народы и раз и навсегда покончить с войной. Четыре года человеколюбивой бойни ни в чем не убедили его, ибо он был из тех, кого факты ни в чем не могут убедить. В нем жила двойная гордость: скрытая гордость его народа, который ему хотелось реабилитировать, и его личная гордость, ибо он хотел доказать свою правоту. Чем меньше в глубине души он был уверен в своей правоте, тем яростнее настаивал. Его искренний идеализм служил ширмой властным, слишком долго подавляемым инстинктам и не менее искренней жажде опасной, рискованной деятельности.

Антуан Ноде тоже стоял за войну. Но лишь потому, что иначе было нельзя. Это был плотный и румяный, благодушный и покладистый, но себе на уме молодой буржуа, слегка задыхавшийся и раскатисто, с жеманной грацией уроженца центральных провинций, произносивший букву «р»; он слушал с невозмутимой улыбкой пылкие и красноречивые излияния своего друга Сэ и не упускал случая раззадорить его небрежно брошенным словом; но толстый ленивец сам и не думал пускаться за ним вдогонку. К чему лезть на рожон, раз ничего от нас не зависит? Это только в трагедиях изображают героическую и велеречивую борьбу между долгом и желанием. Когда выбора нет, исполняешь свой долг без громких фраз: от них, увы, он не становится приятнее! Ноде не восторгался и не возмущался. Здравый смысл подсказывал ему, что, раз уж машина пущена в ход и война в разгаре, придется принимать в ней участие, — иного выхода нет. А все разговоры об ответственности — пустая трата времени. Если мне надо драться, то какая мне радость знать, что можно было бы не драться, если бы события сложились... не так, как они сложились?

Ответственность! Для Бернала Сессе вопрос об ответственности был главным вопросом; он с ожесточением пытался распутать этот змеиный клубок; вернее, он потрясал им над головой, словно маленькая фурия. Хрупкий юноша, благородный, страстный и очень нервный, душевно ранимый вследствие своей повышенной восприимчивости, отпрыск богатой, буржуазной семьи, принадлежавшей к старому республиканскому роду, представителям которого случалось занимать самые высокие посты в государстве, он из духа противоречия исповедовал крайние революционные убеждения. Слишком близко наблюдал он нынешних хозяев жизни и их клику. Он обвинял все правительства, и прежде всего свое. Он только и говорил, что о синдикалистах и большевиках, недавно открыв их, он братался с ними, точно знал их с детства. Не представляя себе ясно, в чем спасение, он стоял за решительное изменение общественного строя. Он ненавидел войну, но с радостью пожертвовал бы своей жизнью в классовой борьбе, — в войне против своего класса, в войне против себя самого.

Четвертый член содружества, Клод Пюже, следил за этими словесными поединками с холодным, несколько пренебрежительным интересом. Выходец из мелкобуржуазной среды,

бедный, оторванный от родной почвы, он был вывезен из провинции каким-то заезжим инспектором, обратившим внимание на его способности. Преждевременно лишенный семьи, этот лицейский стипендиат, привыкший рассчитывать только на самого себя и быть наедине с самим собою, жил лишь собою и для себя. Философ-эготист, любивший анализировать каждое душевное движение, сладострастно погруженный в самосозерцание, он, словно жирный свернувшийся клубком кот, не заражался волнением окружающих. Трех приятелей, которые никак не могли столковаться между собою, он сваливал в одну кучу вместе с «чернью». Разве эти трое не роняли себя, стремясь разделить чаяния толпы? Говоря по правде, для каждого из них толпа была разной. Но, по мнению Пюже, какова бы она ни была, толпа всегда неправа. Толпа — это враг. Дух должен пребывать в одиночестве, подчиняться только собственным законам и, отдалившись от черни и государства, основать замкнутое царство мысли.

А Пьер, сидя у окна, рассеянно смотрел вдаль и мечтал. Обычно он со страстью устремлялся в эти юношеские поединки. Но сегодня они казались ему праздным жужжанием, которому он внимал откуда-то издали, совсем издали, в полузабытьи, устало и насмешливо. Товарищи в пылу спора долго не замечали его молчания. Наконец Сессе, привыкший встречать у Пьера поддержку своим революционным речам, не слыша его голоса, вдруг спохватился и окликнул друга.

Пьер, как бы внезапно разбуженный, покраснел и, улыбаясь, спросил:

— О чем вы говорите? Они пришли в негодование.

— Так ты ничего не слышал?

— О чем это ты размышлял? — спросил Ноде.

Пьер несколько смущенно и вместе с тем дерзко ответил:

— О весне. Она все же вернулась без вашего разрешения и уйдет, не спросив у нас.

Все смотрели на него с уничтожающим презрением. Ноде обозвал его поэтом, а Жак Сэ — поэтом.

Холодно прищуренные глаза Пюже остановились на Пьере с насмешливым любопытством, и он произнес:

— Крылатый муравей!

— Что такое? — весело отозвался Пьер.

— Береги крылья! — посоветовал Пюже. — Это — брачный полет. Он длится всего час.

— Вся жизнь длится не дольше, — ответил Пьер.

\* \* \*

На Страстной неделе они встречались ежедневно. Пьер навещал Люс в ее уединенном домике. Бедный садик пробуждался. Они проводили в нем послеполуденные часы. Им стал теперь чужд Париж с его толпой и шумными проявлениями жизни. Временами на них находило оцепенение, и они молча сидели рядом, ленись пошевелиться. Странное чувство владело ими: они боялись, боялись приближения дня, когда должны были стать близки, — боялись из-за избытка любви, из-за чистоты душевной, которую оскорбляли уродства, жестокость, грязь жизни, — в опьянении страсти душа страстно мечтала быть от них избавленной. Но они об этом не говорили.

Время обычно протекало в тихой беседе о будущем жилище, о совместной работе, о своем маленьком хозяйстве. Они заранее тщательно вили себе гнездышко, расставляли мебель, отводили место книгам, бумагам, каждому предмету. Люс, как настоящая женщина, вызывая в воображении все эти милые мелочи, уютные картины повседневной семейной жизни, бывала порой растрогана до слез. Они наслаждались, предвкушая простые и пленительные радости будущего очага... Но оба знали, что счастье несбыточно, — Пьеру это подсказывал его безрадостный взгляд на жизнь, а Люс — пришедший к ней вместе с любовью дар прозрения, который открыл ей неосуществимость этого брака. Вот почему они и спешили вкусить его в мечтах, скрывая друг от друга уверенность, что все это так и останется мечтой.

Каждый думал, что это понятно только ему, и всячески оберегал радужные надежды друга.

Мысленно предвосхитив горькие радости несбыточного счастья, они чувствовали себя усталыми, словно пережили все это наяву. И тогда они отдыхали в беседке, увитой диким виноградом, в котором солнце растопляло замерзшие соки; Пьер клал голову на плечо Люс, и оба, мечтая, слушали гудение земли. Молодое мартовское солнце, играя в прятки с набегавшими тучками, то улыбалось, то исчезало. Светлые лучи, темные тени скользили по равнине, как в душе — радость и горе.

— Люс, — заговорил вдруг Пьер, — не кажется ли тебе... что когда-то давным-давно... все это уже было?..

— Да, — подтвердила Люс, — правда, я помню... Все было, как сейчас... Но чем мы тогда были?

Их забавляло строить предположения, в каком облике они уже встречались. Людьями? Может быть; но тогда, наверное, девушкой был Пьер, а Люс — возлюбленным. Или птицами в воздушной синеве? В детстве мать говорила Люс, что она была диким гусенком, свалившимся к ней через трубу: ах, как она изломала свои крылья! Но особенно нравилось им воображать себя в виде изменчивых частиц природы, которые сливаются, свертываются и разворачиваются, подобно прихотливому узору мечты или дыма: белоснежные облачка, тонущие в бездонности неба, легкая зыбь волн, капли дождя, роса на траве, пух одуванчика, плывущий по воздушным струям... Но ветер их уносит... Ах, только бы он не разбушевался опять и не потерять бы им друг друга навеки!

Но Пьер возразил:

— А я думаю, что мы никогда и не разлучались; мы были вместе, вот как сейчас, лежа друг подле друга; только мы спали и видели сны; иногда просыпались... не совсем... я чувствую твоё дыхание, твою щеку у моей щеки... усилие, и губы наши сближаются... и снова впадаем в забытие... Милая, милая, я здесь, я держу твою руку, не покидай меня! Сейчас нам еще рано просыпаться, весна высунула только самый кончик своего замерзшего носа...

— Как твой, — перебила Люс.

— Скоро мы проснемся в ясный летний день...

— Мы сами будем ясным летним днем, — вставила Люс.

— ...Знойной сенью лип, солнцем в ветвях, поющими пчелами...

— ...Персиком на шпалере, его ароматной плотью...

— ...Полуденным отдыхом жнецов и их золотыми снопами...

— ...Ленивым стадом, пасущимся на лугу...

— ...А вечером, на закате, зыбким светом, который расстилается вдаль, над лугами, точно цветущий пруд...

— ...Мы станем всем, — заключила Люс, — всем, чем приятно любоваться и обладать, что сладко целовать, вкушать, осязать и вдыхать... А остальное пусть достается им... — Люс указала на дымки города.

И рассмеялась, обняв своего друга:

— Неплохо исполнили мы наш маленький дуэт. Ты не находишь, Пьерро?

— Да, Джессика, — согласился он.

— Мой бедный Пьерро, — продолжала она, — мы с тобой были созданы не для этого мира, где только и умеют петь Марсельезу!

— Если бы еще умели ее петь! — проронил Пьер.

— Мы ошиблись станцией и сошли раньше.

— Боюсь, что следующая станция оказалась бы еще хуже... Ты представляешь себе, что было бы с нами в том обещанном улье, где никто не посмеет жить для себя, а только для пчелиной матки или для республики?

— Нести яйца без усталости с утра до ночи или с утра до ночи лизать яйца других, — спасибо за выбор, — заявила Люс.

— О Люс, скверная девочка, как некрасиво ты рассуждаешь! — смеясь, сказал Пьер.

— Да, гадко, я и сама знаю. Ни на что хорошее я не годна. Да и ты тоже, дружок. Ты

плохо приспособлен к тому, чтобы убивать и калечить людей на войне, а я к тому, чтобы потом зашивать их, как несчастных лошадей, искалеченных во время боя быков, которые должны еще сослужить в будущей свалке. Мы с тобой бесполезные, опасные существа. Мы хотим — а это нелепое, даже преступное стремление — жить для любви, любить тех, кто нам близок, моего милого возлюбленного, моих друзей, хороших людей, ребяташек, добрый дневной свет, вкусный, мягкий хлеб и все, что мне приятно и вкусно положить на зубок. Это позор, позор! Красней за меня, Пьерро! Но мы будем наказаны по заслугам! Земля скоро станет одной огромной фабрикой, рабо тающей без отдыха и срока, но для нас с тобой там не найдется места. К счастью, нас тогда уже не будет!

— Да, к счастью! — подтвердил Пьер.

В твоих объятьях даже смерть желанна!  
Что честь и слава, что мне целый свет,  
Когда моим томлениям в ответ  
Твоя душа заговорит неожиданно!

— Что ж! Неплохо сказано!

— Неплохо и в истинно французском духе. «Это из Ронсара», — сказал Пьер.

Но, робкому, пусть рок назначит мне  
Сто лет бесславной жизни в тишине  
И смерть в твоих объятиях, Кассандра.

— Сто лет, — вздохнула Люс, — он довольствуется малым!

И я клянусь: иль разум мой погас,  
Иль этот жребий стоит даже вас,  
Мощь Цезаря и слава Александра.<sup>6</sup>

— Негодный, негодный, негодный шутник! И тебе не стыдно? В наше-то время героев!

— Их слишком много, — возразил Пьер. — Лучше уж я буду простым влюбленным мальчиком, сыном обыкновенной женщины.

«— Ребенком, у которого еще не обсохло на губах мое молоко», — сказала Люс, обнимая его. — Мой, мой малыш!

\* \* \*

Все, кто пережил эти дни, кому суждено было стать свидетелем ослепительного поворота судьбы, забыли, конечно, впоследствии о том, как в эту неделю тяжелое темное крыло в своем зловещем взмахе нависло над Иль-де-Франс, задев своей тенью и Париж. В радости сбрасываешь со счетов перенесенные испытания. Натиск германских войск был стремителен — они достигли высшей точки своего наступления на Страстной неделе между понедельником и средой. Перейдена Сомма, взяты Бапом, Нель, Гикар, Руа, Нуайон, Альбер. Захвачено тысяча сто пушек... Шестьдесят тысяч пленных... Во вторник на Страстной скончался Дебюсси, символ попранной страны прекрасного. Сладкозвучная лира разбилась... «Бедная маленькая умирающая Эллада!..» Что останется от него? Несколько чеканных ваз, несколько безупречно прекрасных стел, которые заглушит трава Стези Забвения. Бессмертные останки разрушенных Афин...

Пьер и Люс смотрели, словно с вершины холма, как опускалась на город тень. Еще

---

<sup>6</sup> Перевод В. Левика.

обласканные лучами своей любви, они без страха ждали конца своего краткого дня. Отныне в ночи они будут неразлучны. Как вечерний Angelus, реяла над ними навеянная воспоминаниями сладостная печаль дивных аккордов любимого ими Дебюсси. Явственнее, чем, когда бы то ни было, откликалась на зов их сердца музыка, — единственное искусство, которое было голосом освобожденной души, прорывающимся сквозь оболочку формы.

В Страстной четверг они шли рядом, держась за руки, по размытым дождем дорогам пригорода. Порывы ветра проносились над затопленной равниной. Они не замечали ни дождя, ни ветра, ни безотрадной картины полей, ни грязной дороги. Они сели рядом на низкой ограде какого-то парка, часть которой недавно обвалилась. В мокром плаще и с мокрыми руками, Люс, свесив ноги, смотрела из-под зонта Пьера, едва прикрывавшего ей голову и плечи, как падали капли. Когда ветер шевелил ветви, капли ударяли по земле, точно дробинки: хлоп! хлоп! Люс молчала, улыбалась и вся тихо светилась.

Они были полны глубокой радости.

— Почему мы так любим друг друга? — спросил Пьер.

— Ах, Пьер, ты, видно, мало меня любишь, если спрашиваешь — почему.

— Я спрашиваю, — возразил Пьер, — чтобы услышать то, что и сам знаю не хуже тебя.

«— Ты ждешь от меня похвал», — сказала Люс, — но останешься ни с чем. Может быть, ты знаешь, за что я тебя люблю, а я не знаю.

— Не знаешь? — в изумлении протянул Пьер.

— Конечно, нет! (Люс усмехалась украдкой.) Да мне и не нужно знать! Если ты спрашиваешь себя — почему, значит нет большой уверенности, значит это не так уж хорошо. Раз я люблю, я не желаю знать никаких «почему», никаких «где», «когда», «откуда» или «как»! Есть моя любовь, только моя любовь, а остальное — как ему угодно.

Они поцеловались. Дождь этим воспользовался, забрался под неповоротливый зонт, коснулся холодными пальцами их волос и щек; они выпили капельку, проскользнувшую меж губ. Пьер спросил:

— Ну, а другие?

— Кто это — другие?

— Несчастные, — ответил Пьер, — все, кто не мы с тобой.

— Пусть поступают, как мы! Пусть любят!

— Но хочется, чтобы и тебя любили! А это ведь не всем дано.

— Нет, всем!

— Нет, не всем! Ты не знаешь цены тому, что ты мне подарила.

— Подарить свое сердце любви, а свои губы любимому — это значит поднять глаза к свету. Это значит — не отдать, а взять.

— Но есть слепые.

— Их нам не исцелить, мой Пьерро. Мы будем видеть за них.

Пьер молчал.

— О чем ты задумался?

— Я думаю, что в этот день, такой далекий от нас и такой близкий, принял крестную муку тот, кто пришел на землю, чтобы исцелять слепых.

Люс взяла его руку.

— Разве ты веришь в него?

— Нет, Люс, больше не верю. Но он всегда остается другом тех, с которыми он, хотя бы однажды, раздел трапезу. А ты, ты знаешь его?

— Очень мало, — ответила Люс, — мне никогда о нем не говорили. Но я, и не зная, люблю его... за то, что он любил.

— Да, но не так, как мы.

— Почему же? Но у нас всего лишь маленькие, жалкие сердца, которые умеют любить только друг друга... А он — он любил всех. Но это все та же любовь.

— Не пойди ли нам завтра, — растроганно спросил Пьер, — на обряд его погребения? В церкви Сен-Жерве, говорят, будет хорошая музыка.

— Да, Пьер, я буду рада пойти с тобой в церковь в такой день. Он примет нас обоих радушно, я уверена. А мы, став ближе ему, станем ближе и друг другу.

Молчание... Дождь, дождь, дождь. Идет дождь. Настает вечер.

«— Завтра в этот час мы будем там», — сказала Люс.

Туман пронизывал их. Люс вздрогнула.

— Милая, ты озябла? — с беспокойством спросил Пьер.

Она поднялась.

— Нет, нет. Все для меня — любовь. Я люблю все, и все меня любит. И дождь меня любит, и ветер, и серое, холодное небо — и мой дорогой возлюбленный.

\* \* \*

В Страстную пятницу небо все еще было затянуто сплошной серой пеленой, но день был теплый и тихий. На улицах продавали цветы. Пьер купил подснежники и левкой, и Люс несла их в руках. Они прошли по тихой набережной Ювелиров, миновали Собор Парижской Богоматери. Старый город, окутанный неясной дымкой, повеял на них очарованием своего кроткого величия. На площади Сен-Жерве из-под ног у них вспорхнули голуби. Они долго смотрели на птиц, круживших над фасадом: одна голубка села на голову статуи. На последней ступеньке паперти, перед тем как войти в храм, Люс обернулась и увидела неподалеку, в толпе, рыжеволосую девочку лет двенадцати, — прислонившись к порталу, с закинутыми за голову руками, девочка смотрела на нее. У девочки было тонкое лицо старинной соборной статуи с загадочной улыбкой, жеманной, лукавой и нежной. Люс улыбнулась в ответ и указала на нее Пьеру. Но вот глаза девочки, устремленные куда-то поверх головы Люс, наполнились ужасом. И дитя, закрыв лицо руками, исчезло.

— Что с ней? — спросила Люс.

Но Пьер ничего не видел.

Они вошли. Над их головами ворковал голубь. Последний звук извне. Голоса Парижа смолкли. Вольный воздух остался за порогом. Наплывы органа, высокие своды... Завеса из камня и звуков отделила их от мира.

Они остановились в одном из боковых приделов, между вторым и третьим алтарем, налево от входа. И там, за выступом колонны, присели на ступеньки, скрытые от остальных молящихся. Отсюда, повернувшись спиной к хорам и подняв глаза, они видели крест, венчавший врата алтаря, и витражи одного из боковых приделов. Дивные старинные песнопения изливали благочестивую печаль. В этой церкви, облаченной в траур, двое маленьких язычников взялись за руки и, обращаясь к великому другу, чуть слышно прошептали:

— Великий друг! Пред лицом твоим я беру его, я беру ее. Благослови нас! Ты видишь наши сердца.

Их пальцы переплелись, подобно соломинкам, из которых сплетена корзина. Они были единой плотью, по которой трепетом пробегали волны музыки.словно лежавшие на одном ложе, они предались мечтам.

В памяти Люс опять всплыл образ рыжей девочки. Ей смутно представилось, будто она видела ее во сне прошлой ночью; но она никак не могла вспомнить, действительно ли так было или сегодняшнее видение только сливалось с прошедшим сном. Наконец, устав от усилия, мысли ее унеслись далеко.

Пьер вспоминал о днях своей короткой жизни. Жаворонок взмывает над туманной равниной, устремляясь к солнцу... Оно так далеко! Так высоко! Долетит ли?.. А туман все сгущается... Не видно земли, не видно неба... И силы изменяют... Внезапно сквозь струившуюся под сводом хора грегорианскую вокализу прорвалось ликующее пение, из мглы вынырнуло крохотное окоченевшее тельце жаворонка и поплыло по безбрежному морю солнца...

Легкое пожатие пальцев напомнило им, что они плывут вместе. И они опять очнулись в

полумраке храма, тесно прижавшиеся друг к другу, окутанные звуками прекрасных песнопений; любовь, в которую погрузились их души, подняла их к высотам самой светлой радости. И пламенная их мольба была только о том, чтобы никогда уже оттуда не спускаться.

В это мгновение Люс, обласкавшая страстным взглядом своего дорогого юного спутника (полузакрыв глаза и слегка приоткрыв рот, как бы растворившись в безграничном счастье, он в порыве благодарной радости поднял голову к той высшей Силе, которую бессознательно ищут наверху), — Люс с замиранием сердца вдруг увидела на красно-золотом витраже алтаря улыбавшееся ей лицо рыжей девочки с паперти. Онемев от изумления, вся похолодевшая, она снова увидела на этом странном лице выражение ужаса и сострадания.

В ту же секунду мощная колонна, к которой они прислонились, пошатнулась, и вся церковь сотряслась до самого основания. Сердце Люс бешено колотилось; оно заглушало грохот взрыва и вопли толпы, и она бросилась, не успев ощутить ни страха, ни страдания, бросилась, чтобы прикрыть своим телом, как наседка своих птенцов, Пьера, а Пьер с закрытыми глазами все еще улыбался от счастья. Материнским движением она крепко-крепко прижала к груди эту дорогую голову; она припала к нему, касаясь губами его затылка; оба стали совсем маленькими.

И мощная колонна, рухнув, погребла их.

Август 1918.

## **ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА ПЬЕР И ЛЮС**

Толчком к написанию повести послужило событие, происшедшее 29 марта 1918 года. Немецкая авиабомба попала в церковь Сен-Жерве, и под обрушившимися сводами собора оказались погребенными 165 человек, из которых 75 были убиты. На осуществление замысла повести «Пьер и Люс» Роллану потребовалось всего четыре месяца. В августе 1918 года повесть была закончена, в 1920 году опубликована. Первый русский перевод появился в 1924 году.

А. Пузиков